

Л. М. Андрюхина

СТИЛЬ НАУКИ:
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРИРОДА

Екатеринбург
Издательство Уральского университета
1992

ББК А 518.13
А665

Научный редактор доктор философских наук,
профессор И. Я. Лойфман

Рецензенты:

доктор философских наук М. М. Шитиков;
кафедра философии УрО АН СССР

Андрюхина Л. М.

А665 Стиль науки: культурно-историческая природа.— Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1992.— 152 с.
ISBN 5—7525—0169—5

В монографии впервые проводится целостный философский анализ стиля науки. Цель автора понять бытие науки в культурно-историческом измерении, увидеть, что наука — это не только технология, но культура, дух, стиль, способ исторического самоопределения человека в культуре. Анализ проблемы стиля в науке подводит к обсуждению фундаментальных проблем научного творчества, культурно-исторического предназначения науки, путей совершенствования научной методологии и управления наукой.

Для специалистов в области философии и истории науки, культурологов, для всех интересующихся проблемой стиля в общекультурном аспекте.

А 0301040100—8
182(02)—92

ББК А 518.13:

Научное издание

Андрюхина Людмила Михайловна

**СТИЛЬ НАУКИ:
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРИРОДА**

Редактор **Е. Г. Понизовкина**
Технический редактор **Т. М. Качула**
Корректор **Т. С. Сергеева**

ИБ № 436

Сдано в набор 26.09.91. Подписано в печать 24.12.91.
Формат 60×84¹/₁₆. Бумага тип. № 2. Гарнитура литерат. Печать высокая.
Усл. печ. л. 9,5. Усл. кр.-отт. 9,73. Уч.-изд. л. 10,2.
Тираж 1000 экз., Заказ 421. Цена 2 р.

Издательство Уральского университета
620219, Екатеринбург, ГСП-830, пр. Ленина, 136.

Типография изд-ва «Уральский рабочий»
620219, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.

ISBN 5—7525—0169—5

© Л. М. Андрюхина, 1992:

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	4
Глава I. Стиль как культурно-историческое измерение научной деятельности	7
§ 1. Образы науки и проблема стиля	7
§ 2. Стилиевые формы теории, логики, метода научной деятельности	23
§ 3. Стилиевая среда науки	31
§ 4. Стиль как условие воспроизводства научной деятельности	46
Глава II. Стиль как культурно-историческое самоопределение субъекта науки	59
§ 1. Стиль как субъектно-индивидуальный способ бытия всеобщего	59
§ 2. Стиль как культурно-историческая мера избыточности и определенности деятельности субъекта	67
§ 3. Культурно-исторические топосы как основание стиля науки	80
Глава III. Стиль и культурно-исторические перспективы науки	104
§ 1. Философские образы истории и стиль науки	104
§ 2. Метод и стиль науки: на пути к инновационной технологии познания	112
§ 3. Целенаправленное стилиеобразование как фактор перестройки управления наукой	131
Заключение	149

ПРЕДИСЛОВИЕ

Различие между Моцартом и Сальери известный психолог Б. М. Теплов видел в том, что «сочинение музыки было для Моцарта включено в жизнь, являлось своеобразным отражением и переживанием жизненных смыслов, тогда как для Сальери никаких смыслов, кроме музыкальных, на свете не было, и музыка, превратившаяся в единственный и абсолютный смысл, роковым образом стала бессмысленной... Сальери становился рабом «злой страсти», зависти, потому что он, несмотря на глубокий ум, высокий талант, замечательное профессиональное мастерство,— человек с пустой душой. Наличие одного лишь изолированного интереса, вбирающего в себя всю направленность личности и не имеющего опоры ни в мировоззрении, ни в подлинной любви к жизни во всем богатстве ее проявлений, неизбежно лишает человека внутренней свободы и убивает дух»¹.

Культурная «эвтанизация» возможна в любом виде деятельности. Распадение деятельности и культуры, редукция многообразия культурных смыслов к голой эффективности технологии — не в этом ли источник религиозного обскурантизма или политического тоталитаризма, бездушного эстетизма или технократизма в науке?

Не значит ли это, что культура — это мера и условие осуществления человеческой ценности любой деятельности, а не то, что понималось часто как нечто вторичное к производству, нечто только дополняющее технологию и заслуживающее только «остаточного» внимания? Общество, создающее условия для многообразия культурных форм, осуществляет тем самым главное накопление — накопление богатства человеческих сущностных сил (К. Маркс). Культурная многоразмерность поднимает в человеке человека, выхватывает его из бездушия политических, религиозных, научных и иных автоматизмов и стереотипов деятельности, открывает новые горизонты жизни и мышления.

Историческая динамика культуры, условия ее роста, воспроизводства, а также причины, вызывающие ее упадок, исследованы явно недостаточно. В философских работах культура либо исследуется преимущественно в ключе структурно-функционального анализа, либо рассматриваются только ее отдельные формы (предпочтение при этом отдается изучению художествен-

ной культуры). Вместе с тем культурологические исследования науки вне конкретно-исторического подхода не позволяют выявить тонкую динамику, жизнь того культурного слоя (самого по себе очень многообразного и дифференцированного), в котором осуществляются гуманистические смыслы науки.

В силу абстрактно-культурологического подхода наука чаще всего наделяется нормативными качествами культуры, которые понимаются при этом фактически как субстанциально-неизменные, либо обнаруживается девальвация, разрушение культурного слоя науки. Однако линейная экстраполяция негативной ситуации разрастается до выводов о субстанциальном культурно-разрушительном характере науки. Само понятие культуры оказывается малоэффективным и в конечном счете обесценивается совсем в рамках абстрактного культурологизма.

В реальной практике науки и в самосознании многих ученых вырастают, однако, иные подходы к осмыслению связи науки и культуры. Все больше понимается важность специфических условий, необходимых для развития научной культуры. Сложность ситуации заключается в том, что наука нуждается в новом культурном пространстве, необходимо связанном с новым уровнем развития демократии и свободы, нуждается в специальных условиях для наращивания культурного потенциала. Но общество на современном этапе не в состоянии предоставить науке необходимое пространство социокультурного развития, однако стимулирует гиперэксплуатацию технологических структур научной деятельности, и тем самым способствует деградации даже того культурного потенциала науки, который был накоплен ранее ².

Целью предлагаемой работы является попытка средствами философского анализа задержаться, сделать остановку в потоке безудержного вращения технологических циклов и методологических фантомов сознания и в короткой паузе в метатехнологическом измерении высветить культурные слои науки, понять бытие науки как поле многозначного и многоцветного исторического самоопределения человека в культуре, увидеть, что наука — это не только технология, но культура, дух, стиль. С утратой стиля — «окаменением цветов духа» — известный голландский историк Й. Хейзинга связывал упадок и гибель культуры ³. А. Белый еще более тесно сближал понимание культуры и стиля. Он писал: «Культура есть стиль жизни, и в этом стиле она есть творчество самой жизни» ⁴. Именно через стиль (жизни, деятельности, мышления) технология деятельности и культура приобретают исторически человеческую размерность.

Соединение двух понятий «стиль» и «наука» еще десять лет назад звучало странно. Проблема стиля до сих пор остается наиболее разработанной преимущественно на материале художествен-

ной культуры и в языкознании. Но именно с соединением проблемы стиля и проблем развития науки появляется возможность приоткрыть механизмы культурно-исторической динамики науки.

Мы не ставим своей задачей заниматься детальной разработкой морфологии, типологии или функциональной структуры стиля науки⁵. В центре внимания автора монографии — проблема стиля науки как проблема его культурно-исторической природы и одновременно проблема культурно-исторического бытия науки.

В своем исследовании мы опирались на работы советских философов, раскрывающих социокультурные размерности науки. сложные философские проблемы человеческого познания и истории культуры (И. Д. Андреева, А. В. Ахутина, Л. М. Баткина, М. М. Бахтина, В. С. Библера, В. А. Лекторского, А. Ф. Лосева, М. К. Мамардашвили, Н. М. Мотрошиловой, А. П. Огурцова, Ю. В. Сачкова, В. С. Степина, И. Т. Фролова и др.), и на зарубежные источники.

В ряде работ мы встретили идеи, созвучные нашей позиции (работы Н. С. Автономовой, Л. М. Косаревой, И. Я. Лойфмана, Л. М. Микешинной, Б. А. Парахонского, В. Г. Федотовой, В. П. Филатова и др.).

Мы благодарны всем, кто читал работу на разных этапах ее подготовки и помог автору конструктивными замечаниями.

Попытка философской реконструкции историко-культурной онтологии науки как основания стиля, предпринятая автором, — это еще только начало пути, многие вехи которого остаются знаками неизвестного.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Теплов Б. М. Избранные труды. М., 1985. Т. 1. С. 308, 309.

² См.: Шрейдер Ю. А. Свобода как условие развития науки // Вопр. философии. 1989. № 4; Сергеев В. Какая наука нам нужна // Знание — сила. 1989. № 5; Зинченко В. П. Наука — неотъемлемая часть культуры // Вопр. философии. 1990. № 1 и др.

³ См.: Хейзинга Й. Осень средневековья. М., 1988.

⁴ Белый А. Пути культуры // Вопр. философии. 1990. № 11. С. 91.

⁵ Этому отчасти посвящены наши предшествующие работы: Андрухи-на Л. М. Стиль мышления и картина мира в научном познании: автореферат дис.... канд. филос. наук. Свердловск, 1978; Стиль мышления и его формы в научном познании // Диалектика, логика и методология науки. Свердловск, 1978; Научная картина мира как предпосылка и результат научной деятельности // Научная картина мира: Общекультурное и внутринаучное функционирование. Свердловск, 1985; Гуманистическое предназначение науки и стиль научного мышления // Философия и гуманитарное знание: социокультурный анализ. Свердловск, 1986; Ценностные аспекты функционирования и воспроизводства научной картины мира // Научная картина мира: основания, формирование, развитие. Уфа, 1987; и др.

СТИЛЬ КАК КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

§ 1. Образы науки и проблема стиля

Бытие ступенчато, оно одновременно, в нем сталкиваются или мирно стоят разные осознанные эпохи бытия.

В. Б. Шкловский

В самых различных областях жизни человека стиль осознается как фундаментальная характеристика деятельности. С древних времен оформились представления о стиле речевой деятельности (древняя риторика, искусство письма, науки о языке). В современном языкознании понятие стиля утвердилось настолько, что стало предметом учебных курсов и учебников по практической стилистике. Искусствоведение как наука начинается с понятия «стиль». Стиль заявляет о себе как реальный феномен в сфере управления (стиль и методы управления), в процессе воспитания (жизненная позиция, стиль жизни, стиль личности) и т. д. Вместе с тем применительно к науке и научной деятельности в целом стиль еще не получил статуса атрибута научной деятельности. Более того, на протяжении целых веков (особенно это характерно для периода развития науки в эпоху классического капитализма) наука представлялась (в идеале) лишенной всех признаков субъективности, в том числе стилевых структур и форм.

Значит ли это, что наука является чуждой тонким, исторически подвижным слоям культуры, манифестируемым наличием стиля? Может быть, наука действительно противостоит высшим формам проявления человеческого в истории культуры, с которыми всегда связывались приметы стиля? Или же мы просто недостаточно знаем реальную науку, формы ее культурного бытия и пользуемся неадекватными представлениями о ней, устаревшими образами науки?

Проблема стиля в науке возникла для нас первоначально вместе с обнаружением весьма фундаментальной традиции, представ-

ляющей науку как деятельность, где стилевые параметры либо отсутствуют вообще, либо признаются чем-то несущественным, внешним, никак не определяющим саму суть науки.

Гносеологи Нового времени, включая и Гегеля, не сталкивались с необходимостью выявить подвижность, изменчивость самих субъективных оснований деятельности, понять их как условия научности. Напротив, решалась иная задача — сформировать идеал «чистого (абсолютного) субъекта», который, как некая всюду инвариантная величина, мог бы быть приравнен просто к точке, стягивающей все на себя, но которой самой по себе можно пренебречь (см. работы В. С. Библера, М. К. Мамардашвили). Выявить в субъекте только технологически необходимые характеристики, обладая которыми он неизбежно всегда будет получать истинное знание, выявить сам этот технологический механизм, действующий наподобие законов природы, — это составляло главную задачу классической гносеологии. Отсюда все, что относилось к варибельности субъекта, его социальной текучей наполненности, неизбежно оказывалось на теневой стороне идеала научности. Гегель, решая ту же задачу, как никто иной представил субъекта познания в его абсолютно-всеобщих измерениях. Абсолютный субъект и объект оказались тождественными.

Вынесение «за скобки» образа науки всей палитры социальных отношений, сведение деятельности к монодеятельности, логики — к монологике сказались и в том, что в классической гносеологии не было места представлениям о стиле научной деятельности в позитивном смысле.

Целую группу таких моделей или образов науки, формируемых в том числе философским сознанием, мы условно объединили понятием **автономно-технологические образы науки**. При всем многообразии этих моделей определяющим признаком для всех них является выделение в науке автономно-функциональных процессов или структур по аналогии с технологическими процессами. Не случайно поэтому основными наглядными образами такого представления науки служат, как правило, образы бесперебойно функционирующей машины, автомата, алгоритма и т. д. Различия этих моделей определяются, главным образом, тем, какие конкретно процессы рассматриваются как основание автономно функционирующей технологии: эмпирические процедуры, парадигмальные механизмы, языковые самопорождающие структуры, социально-устойчивые формы организации науки, замкнутые методологические миры или мифологемы научной идеологии.

Так, Ю. Хабермас описывает функционирование естественных наук (оставаясь в этом вопросе во многом в рамках неопозитивистских эталонов научности) на основе модели «познающей машины» (learning machine).

Опыт рассматривается в этой модели как ввод или физический стимулятор, вторгающийся в машину из внешней среды. Процесс научного описания опыта научным сообществом на интерсубъективном языке может быть представлен как кодирование вводимых данных на машинном языке. Кроме того, кодирующее устройство должно также модифицироваться в зависимости от характера обратной связи (положительной или отрицательной) машины со средой аналогично тому, как модифицируется естественный дескриптивный язык человеческого познания в результате успешного или неуспешного исследования. В случае, когда мы можем исследовать как машину, так и ее окружение, мы знаем, что для ее успешного функционирования нужны определенные условия. Во-первых, должно быть достаточно возможностей для максимально детального исследования, что увеличивает точность результатов познания; во-вторых, среда должна быть достаточно стабильной, для того, чтобы могла осуществляться самокорректировка познания, и, в-третьих, не должно быть слишком сильных воздействий машины на среду, вследствие которых либо нарушается соответствие данных, получаемых машиной, параметрам среды, либо то, что машина познает, оказывается артефактом действия самой машины. Без этих ограничений, накладываемых как на машину, так и на среду, механизмы, обеспечивающие обратную связь, могут впасть в нестабильные колебания. Согласно Хабермасу, в самой природе естественных наук заложено соблюдение этих условий. Последнее условие не соблюдается в науках, которые он описывает как герменевтические, поскольку для них характерно сильное взаимодействие между исследователем и тем, что исследуется, или (в терминах модели) между машиной и средой. В этих науках возможность детального исследования и достаточная стабильность среды также не всегда присутствуют¹.

Автономно-технологический образ науки в наиболее явном виде был разработан в неопозитивизме. В. Н. Порус и А. Л. Никифоров, давая, на наш взгляд, наиболее полный анализ этого образа науки, выделяют следующие его черты: эмпирический фундаментализм, абсолютная неизменность и универсальность критериев научности, принципиальная элиминируемость субъекта, качественная однородность научного знания, идея демаркации между наукой и другими формами духовной деятельности². С открытием парадигмальных структур науки модель научной деятельности как замкнутого эмпиристского алгоритма была подвергнута критике. Парадигмальные модели открыли новые, в том числе и стилевые, характеристики науки. Однако нормативизм парадигмальных концепций в конце концов привел к появлению автономно-технологических образов науки другого типа. В их основе оказались замкнутые (вплоть до абсолютно несонзируемых) парадигмальные миры,

функционирующие на основе норм, образцов, тем и т. д., воспроизводимых в рамках этого замкнутого функционального мира.

Автономно-технологические образы науки, если они соответствуют определенному состоянию действительной науки, одновременно обнаруживают тот факт, что ни один автономно-технологический мир не в состоянии обеспечивать сколько-нибудь продолжительное осуществление научной деятельности уже потому, что исчерпывается культурно-регулятивный потенциал деятельности и чисто внутренних источников оказывается недостаточно для порождения новых норм, эталонов, тем, парадигм.

Логическим завершением развития автономно-парадигмальных моделей науки можно считать концепцию науки, развитую Штарнбергской группой (Г. Беме, В. Деле, Р. Холфелд и В. Шефер)³. Эта исследовательская группа была организована в рамках Института им. Макса Планка (Штарнберг).

В отличие от концепции Т. Куна в модели развития науки Штарнбергской группы включаются три последовательно сменяющиеся друг друга фазы: предпарадигмальная, парадигмальная и постпарадигмальная. Каждая из них характеризуется своими стратегиями и доминирующим способом осуществления деятельности. Для предпарадигмальной стадии характерно отсутствие определенной теории, организующей поле исследований, и главная тенденция этого раннего периода развития науки — это стремление к **функционализации** или фактически к установлению постоянно воспроизводимых отношений между теоретическими описаниями и эмпирически фиксируемыми корреляциями. Одной из главных особенностей этого этапа является также то, что отбор эмпирических данных и теорий осуществляется всецело на основе внутренних когнитивных целей.

Второй, парадигмальный, этап развития науки, в отличие от концепции Т. Куна, осмысливается на основе представления о зрелой парадигме. Специфика парадигмального этапа заключается в наличии доминирующей фундаментальной теории, а главной тенденцией развития этого этапа является процесс **автономизации** — становления зрелой парадигмы, основанной на появлении замкнутой теории.

Третий, постпарадигмальный, этап начинается только тогда, когда имеется в наличии зрелая парадигма. «Если дисциплина не располагает зрелой парадигмой, то финализация невозможна». Процесс **финализации** авторы концепции связывают с понятием «конечных причин», которые к тому же понимаются как внешние цели развития науки. Суть финализации заключается в том, что в период зрелой парадигмы «внутренние регулятивы существенно ослабевают и появляется возможность для внедрения внешних регулятивов» или внешних социальных целей. Если в концепции

Т. Куна научные революции или постепенная эволюция приводят к смене одной фундаментальной теории другой, но тем не менее цели развития науки всегда остаются преимущественно внутренними, в концепции Штарнбергской группы внутренние цели заменяются внешними⁴.

В связи с направленностью нашего исследования важно то, что в концепции Штарнбергской группы осознаны пределы автономно-технологических моделей науки. Автономизация науки понимается как преходящий этап в развитии науки. Автономизация — это фактически состояние временного коллапса, когда обнаруживается, что прежние регулятивы не могут служить основанием отбора и выработки новых идей, проблем, теорий; наука как бы вступает в состояние крайне неустойчивого равновесия, когда любые внешние социальные цели могут послужить основанием для выбора направления исследования. Включение субъектных, социальных ориентаций или их расширение является неизбежным на определенном этапе. Социальный контекст, в том числе и стилевые параметры среды, получает все права на когнитивные функции в науке и уже не выносится за ее пределы. Многое в концепции Штарнбергской группы остается спорным. Можно указать на неопределенность трактовки этапа финализации науки (как его начала, так и его конца). Вряд ли соответствует действительности описание целостной динамики развития науки как перехода от автономизации к финализации, что уже может быть интерпретировано как отрицание возможности автономно развивающейся науки в принципе.

В марксистской литературе автономно-технологические модели науки неоднократно подвергались критике, однако преимущественно в их неопозитивистских и постпозитивистских вариантах, где в качестве основной функциональной структуры рассматривались собственно технологические процедуры науки (эмпирические, парадигмальные и т. п.). Фактически не исследовалась наука как особый тип идеологии, хотя уже в рамках постпозитивизма осуществляется выход из гносеологии в идеологию науки (П. Фейерабенд).

Технологизации и автономизации подвержены и идеологические структуры воспроизводства и функционирования науки в обществе. В современном постструктурализме, на наш взгляд, проведена серьезная работа по выявлению таких замкнутых идеологических «социальных машин». Через анализ языка, текстов представители постструктурализма пытаются вскрыть идеологический уровень дискурсии, истоки дискурсии власти.

Как показывает в своем исследовании С. Н. Некрасов, социальные машины мышления, или властные принудительные структуры, замкнутые идеологические миры признаются в постструк-

турализме ответственными за внедрение социально-исторических компонентов в познание и деятельность, за идеологизацию мышления и в конечном счете за фетишистские иллюзии и извращенные желания. Так, Деррида ставит перед собой сверхзадачу — усмотреть в текстах изначальные следы социальной практики, определяющие внутреннюю логику построения звукового письма, глубокие закономерности политического «репрессивного» производства истины. Для Делёза бинарные оппозиции языка (белое — черное, мужчина — женщина и др.) скрывают объективные различия и канонизируют мышление в русле идеологии господствующего класса. Критика дихотомии красной нитью проходит через работы Барта, Фажу, Фая, Лакана, Бодриера, Делёза, что создает концепцию борьбы с «бинарными машинами власти», заложенными в мышлении⁵.

В рамках концепции «социальных машин» понятие стиля оказывается либо невозможным, так как социальная машинерия, согласно Делёзу — Гваттари, лишена всяких следов не только свободной осознанной субъектной активности, но и просто психической жизни. «Есть только машины, их части, сочленения, различные типы механических субъектов желания как результат различных сочленений (параноическая машина, чудодейственная машина, холостая машина)»⁶. Либо стиль начинает фигурировать в ряду эпистем, престижей, имиджей, стереотипов, канонов, оказывается сведенным к фетишизированным структурам и подлежащим наряду с ними деструкции (Бодриер).

Нетрудно заметить, что и в этих образах машинизированного мышления, «социальных», а точнее, «идеологических машин», воспроизводятся многие черты, характерные для неопозитивистского и постпозитивистского образов науки. Это поиски абсолютно замкнутых структур, попытка унификации, сведения всего многообразия сферы духовного и практического к однородному, всюду одинаковому состоянию «социальной машины», фактическая бессубъектность, или, точнее, оперирование только объективированными формами субъектности (механические субъекты желаний, личность как марионетка желающих машин и т. д.). Отличает позицию постструктурализма только осознание необходимости выхода из состояния социальной машинизации через деструкцию и деконструкцию социального.

Проблема заключается в том, что автономно-технологические модели науки, духовной деятельности не могут быть просто отброшены, так как отражают определенные состояния науки и идеологии. В частности, легко просматривается аналогия между этими моделями и моделью «административно-бюрократической системы», разрабатываемой Г. Поповым, особенно если последнюю приложить к сфере науки. «Советская наука, — пишет С. Г. Кара-

Мурза,— формировалась и развивалась в условиях специфического идеологизированного и всепроникающего бюрократизма». Важной особенностью этого бюрократизма является то, что «он не носит антисциентистского характера, он в высшей степени технократичен и стремится интенсивно интегрировать науку в свою систему, при этом неизбежно ограничивая и травмируя науку, а иногда и обрекая ее наиболее выдающиеся ветви»⁷. Среди характерных путей деформации науки в условиях бюрократической системы С. Г. Кара-Мурза выделяет следующие (представим их обобщенно): возрастание тенденции к автономизации (сокращение коммуникаций, закрытость научной политики, закрытость науки от общества, организационная замкнутость — выделение науки в отдельную отрасль); сокращение разнообразия (организационная унификация, жесткое планирование и т. д.); деформация субъекта науки (снижение качественного уровня научной элиты); монополизм в науке, ослабление демократических институтов науки и т. д.

Связь бюрократизации с машинизацией социальной жизни, с технологизацией и технократизацией мышления усматривал еще К. Ясперс. «Вследствие уподобления всей жизненной деятельности работе машин,— писал он,— общество превращается в одну большую машину, организующую всю жизнь людей. Бюрократизм Египта, Римской империи — лишь подступы к современному государству с его разветвленным чиновничьим аппаратом. Все, что задумано для осуществления какой-либо деятельности, должно быть построено по образцу машины, т. е. должно обладать точной предначертанностью действий, быть связанным внешними правилами»⁸.

К. Ясперс не отождествлял, однако, сущность науки, человеческой деятельности с машинизацией как таковой. Наоборот, он верил, что «демонизм техники может быть преодолен. И, быть может, все те беды, которые связаны с техникой, когда-нибудь будут подчинены власти человека. Вся дальнейшая судьба человека зависит от того способа, посредством которого он подчинит себе последствия технического развития и их влияние на его жизнь, начиная от организации доступного ему целого до его собственного поведения в каждую данную минуту»⁹. Для Ясперса было важно, чтобы техника не вытесняла и не подменяла собой человеческую жизнь.

С. Г. Кара-Мурза также не отождествляет бюрократически деформированное, «машинизированное» состояние науки с ее сущностью, а, наоборот, подчеркивает, что «победа бюрократизма в духовной жизни общества (и в том числе в науке.— Л. А.) не была полной»¹⁰. Наука, обладая собственными культурными ценностями, определенным стилем мышления, могла противостоять давлению бюрократизма. Следовательно, культура науки, а соответ-

ственно и стиль науки понимаются уже не как то, что может быть отброшено и деформировано, но как тот потенциал, который позволяет противостоять если не внедрению, то расширенному воспроизводству автономных, замкнутых технологизированных структур типа административно-бюрократического механизма.

Действительно ли это так и каково в таком случае реальное поле возникновения и существования стиля в науке?

Обратимся к анализу другого типа образов науки, которые мы условно назовем **культурно-феноменологическими**. В центре этих моделей — анализ многообразных проявлений науки в сфере культуры, собственная культурная размерность научной деятельности, а не технологические или функциональные алгоритмы.

Избегая детального обзора различных позиций, постараемся выделить те черты науки, представленные в этих моделях, которые позволяют очертить реальное пространство включения стиля в научную деятельность.

Н. Рихтер, анализируя различные модели науки, приходит к выводу, что модель науки как культурного процесса является наиболее полной в сравнении с моделями науки как метода, как социального института, как вида занятости и т. д. Концепция науки как метода, полагает он, «не может достаточно убедительно описывать некоторые очень важные типы событий в науке, благодаря которым различные изобретения и открытия интерпретируются и интегрируются научным сообществом». Эта концепция, по мнению Рихтера, применима к описанию только микроскопического уровня науки¹¹.

Х. М. Коллинз, противопоставляя культурологическую модель науки традиционной алгоритмической модели, показывает, насколько отлично понимание природы научного знания и особенно научной коммуникации в этих моделях. Именно в культурологической модели научные коммуникации могут быть представлены достаточно полно и не сводятся к простой передаче информации. Культурологическая модель как бы открывает новое измерение в исследовании научной коммуникации, включая в поле зрения научные традиции, возможности конвенции и взаимопонимания, что оказывалось совершенно вне рамок исследования в алгоритмической модели¹².

Разрабатывая образ науки как культурной системы, Й. Елкана отмечает, «насколько устойчив стереотип, согласно которому все может иметь различные измерения и формы, кроме науки... Религий много, искусства различны, идеологии меняются, ценности множественны, но наука исключительна в этом отношении... Вот почему наряду со сравнительной религией, сравнительной идеологией и, естественно, сравнительным искусством, нет области исследования под названием «сравнительная наука». Но если нау-

ка — культурная система, подобная другим, то область сравнительного исследования может возникнуть»¹³. Фейерабенд, как замечает Елкана, сделал ценное наблюдение, подтверждающее стойкость представления о культурной однородности науки. Фейерабенд утверждает, что даже смелые и революционно настроенные мыслители склонялись перед мнением науки. Кропоткин хотел разрушить все существующие институты, но он не трогал науку. Ибсен пошел очень далеко в критике буржуазного общества, но он поддерживал науку как мерило истины. Леви-Стросс позволил нам осознать, что западная мысль не является одиноким пиком человеческих достижений, как это считалось ранее, но он исключает науку из своей релятивизации идеологий¹⁴.

Нужно согласиться с Й. Елкана, что сегодня мы поставлены перед необходимостью преодоления этого устоявшегося стереотипа, идущего от позитивизма, а точнее, от автономно-технологических образов науки. Научная политика, ориентированная на однотипные структуры организации научной деятельности, сдерживает развитие науки. Надо признать, что наука может иметь и имеет многообразные культурные формы: наука Востока и Запада, столичная и провинциальная, индивидуальная и институциональная, науки естественные и гуманитарные, фундаментальные и прикладные, идеологизированные и деидеологизированные, научная мифология и научная рациональность, наука как занятие и наука как драма и т. д.

Важнее то, что с признанием многокачественности культурного бытия науки как раз и обозначается пространство включения стилевых характеристик в науку. В условиях культурной многомерности только и становится реальным процесс культурного самоопределения научной деятельности, поиск ученым, научным сообществом собственной меры, способа культурного бытия. Стиль в этом случае уже не нечто ненужное, побочное; наличие стиля — одно из основных условий культурной состоятельности, временной, исторической включенности, явленности того или иного типа научной деятельности в мультиконтинуальном поле культуры.

Наряду с многокачественностью, культурным полиморфизмом другой важной чертой науки, открываемой в культурно-феноменологических моделях, является ее многоградиентность, или, если использовать язык синергетики, ее многофазность. Градиентность науки исследовалась преимущественно в ракурсе проблемы уровней познавательного процесса, которые рассматривались как нечто исторически данное и практически неизменное. Применительно к научному познанию — это проблема соотношения эмпирического и теоретического уровней познания. Однако с обращением к историческим и социокультурным исследованиям науки оказался проблематизированным сам факт окончательной данности и за-

стывшей четкой разграниченности этих уровней научного познания (дискуссии фундаменталистов и антифундаменталистов, проблема теоретической нагруженности эмпирии и т. д.). Кроме того, были обнаружены и иные градиенты научной деятельности, что заставляет уже задуматься над вопросом о причинах длительного предпочтения, отдаваемого в моделях науки градиентам того или иного типа. Наряду с уровнями теоретического и эмпирического, в постпозитивистских исследованиях науки был выделен новый парадигмальный уровень. Советские исследователи склонны выделять уровень научной картины мира и стиля мышления как особый слой научной деятельности. В различных вариантах научного реализма все большее значение начинает придаваться градации научных уровней по принципу их отнесения к достоверному либо к гипотетическому (модельному, вероятному) знанию (Р. Харре, М. Хессе, Х. Патнем, Р. Бхэскар и др.). Открываются и другие градиентные размерности науки. В работах М. Хайдеггера выделяется не анализировавшийся ранее методологией науки «неравновесный переход», «раскрытие действительного способом поставления его в качестве состоящего в наличии», а сущность науки определяется как постав, или «способ, каким действительное выходит из потаенности, становясь состоящим в наличии»¹⁵.

Н. С. Автономова возвращается к категориям «рассудок» и «разум», переосмысляя их как динамичные градиенты рациональности науки¹⁶. Более того, иррациональное, ранее абсолютно изгонявшееся из науки, сегодня включается в динамику научного развития и тем самым обнаруживается новый срез градиентности науки как постоянный взаимопереход иррационального в рациональное... «...В науке,— пишут И. Т. Касавин и З. А. Сокулер,— есть и рациональное и иррациональное, и при этом и в первом, и в последнем она тесно связана с рациональным и иррациональным в той культуре, которая ее сформировала»¹⁷.

И. Елкана выделяет в науке, понимаемой как культурная система, тело и образ науки, а также ценности и нормы, включенные в идеологии, которые не зависят непосредственно от образов науки. В тело, или базис, науки Елкана включает любые существующие в определенный момент методы решения, нерешенные проблемы, системы теорий и научную метафизику, их обосновывающую. Представления относительно задач науки (понимание, предвидение и т. д.), природы научной истины (точная, вероятная, достижимая и т. д.), источников знания (путем наблюдения, рационализации или путем эксперимента через посредство чувств) — все это компоненты определенных во времени и культуре образов (нимиджей) науки. В соответствии с образом науки осуществляется отбор проблем из выдвигаемого базисом науки множества нерешенных проблем, распределение их по степени важности, а также

определение границ науки. Методологии также обусловлены образами науки.

Идеологии, политические решения, социальное давление, ценности и нормы непосредственно оказывают влияние на формы социальной поддержки тех или иных институтов или исследовательских программ. Это факторы, которые вступают во взаимодействие с образами науки, определяют становление ученого, его предпочтения, пути его карьеры. Идеологии влияют на формирование доминантных образов науки¹⁸.

Обзор различных представлений о размерности науки, ее внутренней полиградиентности далеко не завершен, однако и приведенного материала достаточно для того, чтобы сделать следующие выводы.

Во-первых, наука полиградиентна и само наличие градиентов говорит о жизненности и культурной «полнокровности» науки. Минимизация градиентов научной деятельности или их безграничный рост могут быть симптомами либо вымирания науки, либо ее кризиса.

Во-вторых, градиентность науки носит исторически динамичный, а не застывший характер, границы между уровнями подвижны и даже исторически обратимы (в частности, еще К. Маркс писал об обратимости метода, о превращении результатов исследования в предпосылки и т. д.).

В-третьих, если границы между градиентами не являются абсолютными, если нет окончательных и неизменных приоритетов в структурной градиентности науки, то сразу же возникает вопрос: чем определяются каждый раз конкретные приоритеты и типы соотношений градиентов науки?

Попытаемся дать первоначальный ответ на этот вопрос. Исторически подвижная градиентность науки фактически открывает новое пространство, новую топику научной деятельности, мы как бы выходим в новое измерение науки, которое ранее не фиксировалось в тех или иных моделях науки. В этой топике науки как раз и обнаруживается присутствие стиля. Стиль в данном случае — это конкретная сопряженность тех или иных градиентов науки, их приоритетность, а также сам способ такого сопряжения. Уже тот факт, что в методологических исследованиях долгое время выделялся только определенный тип градиентности науки (эмпирическая и теоретическая деятельность), говорит не только о недостаточности методологических исследований, но и о возможном их соответствии определенному состоянию науки. Не случайно Г. Гранже, предпринявший попытку создать единую стилистику как философскую дисциплину, отмечает, что многие структуралистские теории не могли в полном объеме отразить стилевые явления, так как исследовали преимущественно «результаты уже осу-

ществленных действий»¹⁹, где уже разъяты живые градиенты. В философии науки абсолютизация любого из градиентов или состояний науки неизбежно приводила к замкнутому образу науки (пантеоретизм, панэмпиризм, нормативизм, предметоцентризм и т. д.) и к отторжению стиля. Это может соответствовать и объективным процессам в самой науке, характерным для нее на тех или иных этапах развития. Однако образование замкнутых научных миров, технологий, топосов как раз и взаимосвязано с утратой сложной, подвижной градиентности науки, с ее замыканием (ростом отрицательных обратных связей) и редукцией пространства стиля. Панэмпиризм, пантеоретизм, панлогицизм, нормативизм всегда порождали эффект «концептуальной тюрьмы», замкнутого вырождающегося мира, отторгающего стилиевые проявления.

Полиградиентность науки и ее историческая мера могут быть, на наш взгляд, адекватно выражены лишь в **культурно-историческом образе науки**. Культурно-феноменологические модели, как правило, отражая сам факт полиградиентности, полиморфизма науки, не могут обозначить как раз конкретно-историческую размерность этих характеристик науки. Необходим не только абстрактно-общий взгляд на науку, но такое видение науки, которое наряду с общим позволяет схватывать и конкретно-ситуационные локусы науки, наряду с однородными и универсальными ее характеристиками — ее неоднородность и полиградиентность.

В современных исследованиях появляются понятия, посредством которых можно выразить конкретные состояния, ситуации науки. Введение новых понятий (этос науки, доминанты научного развития, духовная ситуация, оппонентный круг и т. д.) совпадает с преодолением крайностей универсализирующего простого типологического анализа. Замечено, что типологический, структурный, объектно-деятельностный анализ фактически гораздо чаще приводит либо к идентификации различных явлений (даже между наукой и мистикой с этих позиций можно обнаружить много сходного), либо к их крайней демаркации. Это свидетельствует о неполноте самих процедур исследования. Различие результатов обусловлено лишь тем, что в эти процедуры неявно включаются различные начальные установки исследования. Сами по себе эти методы не позволяют выразить конкретно-историческую меру сходств и различий, живую жизнь определенной системы. Конкретно-исторический анализ, помимо типологии, структуры, должен учитывать «экологию», рассматривать конкретно-исторические открытые образования.

Очень сложно подобрать понятия, отражающие новую, объемную размерность науки. Новому видению науки отвечает, на наш взгляд, предложенная А. Поликаровым так называемая доминантная модель. Циклическим моделям развития науки (Т. Кун, И. Ла-

катос и др.) А. Поликаров противопоставляет модель науки как последовательности бифуркаций и образования новых направлений. Центральное понятие этой модели — «доминанта научного поиска» (ДНП). «Под ДНП мы понимаем,— пишет А. Поликаров,— актуальное и ожидаемое направление исследований, которое ведет к значимым (фундаментальным или прикладным) результатам, развивается успешно и приобретает возрастающее влияние в данной (узкой или широкой) области»²⁰. С гносеологической точки зрения ДНП основывается на базисе, состоящем из одной или нескольких научных работ, содержащих оригинальный исследовательский материал, теорию, объединяющую и теоретические и практические ее приложения, вызывающие далеко идущие последствия. Доминанты, появившиеся в одной области, могут распространяться и на другие. С социологической точки зрения доминанты связаны с активностью определенных научных групп или сообществ. «Под ДНП,— заключает А. Поликаров,— я буду иметь в виду набор (серию) очень тесно связанных между собой работ по общим проблемам с соответствующими методами и результатами, которые раскрывают значение проблем...»²¹ ДНП отличается от парадигмы, научно-исследовательской программы тем, что хотя парадигма может выступать в роли ДНП, но не любая парадигма является ДНП.

«Метафорически динамика единичной ДНП может быть проиллюстрирована любым процессом роста (кристаллизация, цепная реакция, кариогенез и т. д.). Что же касается представления о взаимодействии доминант в целом, то с этой целью может быть использован образ волновых процессов»²². Модели Т. Куна, И. Лакатоса, Дж. Холтона могут быть включены в доминантную модель науки как ее частные моменты.

Концепция доминантности научного развития выводит в «объемное», полиразмерное бытие науки и ученого, однако сама она нуждается в дальнейшем уточнении концептуального образа науки. Доминанта понимается А. Поликаровым в основном как итоговая характеристика результата деятельности, а поэтому сам процесс движения научного познания предстает преимущественно в объективированных формах, как совокупность результатов-доминант. Доминанты оказываются эпифеноменом объективированного движения знаний, публикаций, исследований и т. п. Механизмы собственно субъектной стороны выдвижения и жизни доминант остаются скрытыми, ситуация не просматривается со стороны субъекта, а поэтому включение стилевых характеристик познания оказывается затруднительным. Вместе с тем сама по себе характеристика пространства научного движения как неоднородного, с изменяющимися доминантными областями, а следовательно, предполагающего своеобразные мыслительные миры в точках станов-

ления доминант, более отвечает онтологии науки, включающей стиль, нежели исключаяющей его. Онтология однородного, абсолютно универсального, всюду одинакового (будь то парадигмальное или теоретическое и т. д.) пространства, как правило, исключает стиль.

В концепцию доминант не в полном объеме включается и фактор времени, истории, превалирует пространственное видение (картина колебательных процессов). История фиксируется лишь в ее определенных срезах.

С позиции отражения истории и субъектного фактора представляет интерес введенное К. Ясперсом понятие духовной ситуации времени. Основными концептуальными идеями Ясперса, приобретающими значение в анализе стиля, являются, на наш взгляд, следующие.

1. Только прошлые, прошедшие ситуации могут быть рассмотрены чисто объективистски, любая действительная историческая ситуация не может быть понята иначе, чем через субъективность, через человека.

2. В действительной исторической ситуации времени нет абсолютного разделения поля сознания и поля действия. Духовность не исключается из такой ситуации, но именно в ней обретает свою онтологию. «Ситуация, ставшая осознанной, вызывает к определенному поведению. Благодаря ей не происходит автоматически неизбежного: она указывает возможности и границы возможностей: то, что в ней происходит, зависит также от того, как он ее познает. Само постижение ситуации уже изменяет ситуацию, поскольку оно ведет к возможному действию и поведению... Если я ищу духовную ситуацию времени, это означает, что хочу быть человеком»²³.

3. В знании, как в любой отдельной перспективе и констелляции целого, бытие не может обрести свою полноту ни как история, ни как современность. Отсюда соединение индивида с подлинной духовной исторической ситуацией возможно только на основе самобытия как становления, как постоянного выхода за рамки отдельных перспектив и констелляций — как постоянное самоопределение. Границы знания осмысляются как границы ориентирующего самобытия человека²⁴.

Научная деятельность до сих пор еще не изучена со стороны ее внутренней духовной ситуации, как форма самобытия человека во времени, в конкретной культуре. Но именно эту ипостась науки нельзя исключить при обращении к анализу стиля.

В советской литературе активно используется такое понятие, как «этос науки». В зарубежной социологии науки, начиная с 30-х годов, этос науки рассматривался как ценностно-нормативный комплекс, определяющий поведение человека науки и являющийся главным условием зарождения нового достоверного знания. При-

рода научного этоса впервые была очерчена Р. К. Мертонем в качестве элемента его концепции, согласно которой пуританство XVII века сыграло решающую роль в рождении новой науки в Англии²⁵. В отличие от таких понятий, как доминанта научного развития и духовная ситуация времени, понятие «этос науки» акцентирует внимание на межличностных, междисциплинарных отношениях как порождающих полях знания. Именно такая направленность анализа науки и познания (выход в межличностные, междисциплинарные отношения) характерна для работ В. С. Библера, Г. С. Батищева, Л. М. Баткина, И. Т. Фролова, Б. Г. Юдина и др. Л. М. Косарева и понятие стиля определяет через понятие «этос науки»²⁶.

Однако само понятие «этос науки» может трактоваться по-разному и не любая его трактовка необходимо связана с введением понятия стиля. Так, этос науки может пониматься внеисторично, когда в нем абсолютизируется нормативный аспект. Или же вся панорама межличностных, междисциплинарных отношений сводится только к этическим отношениям. В данном случае и стиль предстает как только этическая категория. Кроме того, сами общественные отношения также могут быть поняты как объективированные отчужденные формы, редуцирующие многообразие живых междисциплинарных отношений.

Очевидно, для отражения многомерной действительности науки должно быть выработано такое понятие, которое позволило бы, как минимум, объединить:

- 1) идею объективной доминантности, неоднородности развивающегося пространства науки;
- 2) идею человеческой, субъективной центрации ситуации культурно-исторического процесса;
- 3) идею открытости деятельности, ее обращенности в междисциплинарные отношения;
- 4) идею преодоления любой локальной ситуации, частных констелляций, автоматизмов, окаменения «цветов духа»;
- 5) идею культурно-исторического самоопределения человека науки.

В качестве рабочего понятия для выражения нового культурно-исторического образа науки мы предлагаем понятие «инновационные топосы науки».

Понятия «топос», «топ» использовали первоначально в риторике. Получение истинного знания в античной риторике (Аристотель) не отрывалось от конкретного процесса совпадения или расхождения мнений людей, от живой ситуации общения. Топика оказывалась неким иным измерением по отношению к логике, вскрывала связи речи с конкретным субъектом, с живой ситуацией мышления и общения. Топ — общее положение, объективное наличие

которого предполагается вне логического доказательства (силлогизма). Будучи введен в доказательство и став его элементом, топ нарушает вывод, формально получаемый из посылок силлогизма. Учение Аристотеля о топах приближает формальную логику к логике самой жизни, чреватой неожиданностями. Аристотель называет учение о топах настоящей диалектикой и риторикой²⁷.

Топы, или топосы, служили оратору своеобразными порождающими структурами, эвристическим средством изобретения речи в конкретной ситуации. Однако уже в античности вычленимые в рамках отдельных топосов схемы жестко фиксировались, что превратило топосы из средства изобретения в средство расположения готового знания²⁸. Своеобразное возвращение риторики сегодня придает иной смысл топосам. Развитие топологических представлений в математике также позволяет более широко использовать соответствующие понятия. Топосы применительно к науке могут быть осмыслены как выражение объемных многомерных полей науки, конкретно-исторической ситуации, в центре которой механизмы порождения, творчества, самоопределения субъекта. Топосы — продукты культурно-исторических форм социальности. Понятие «инновационный» подчеркивает динамичный, постоянно претворяющийся характер топологических ситуаций, их субъектную центрацию.

Развитие науки в современном быстро меняющемся мире, развитие как технологии научной деятельности, так и социальных отношений общества ставит проблему поиска новой конкретно-исторической меры единства научной деятельности и мира человека.

Необходимо присмотреться, в чем собственно заключаются культурно-исторические условия возможности научной деятельности? На чем основана историческая и культурная преемственность существования науки в человеческом мире? Если автономно-замкнутая, абсолютно непрерывная научная деятельность, существуя она на самом деле, не могла бы содержать внутри себя оснований стиля, то очевидно, что «пространство» стиля обнаружится только в том случае, если признать наличие разрывов в научной технологии, считать прерывность деятельности такой же реальностью науки, как и непрерывность.

В современной зарубежной философии науки в отличие от классической на первый план выходит не оптимизм непрерывно разворачивающейся технологии, но проблема разрывов деятельности, предстающая подчас абсолютизированной, как эпохальная мистика неподвластной человеку стихии социальных отношений и путей развития науки. Варианты этих представлений многообразны: это и проблема научных революций как глобальных разрывов в научной деятельности (Т. Кун, С. Тулмин и др.), это пробле-

ма несоизмеримости теорий (Т. Кун, И. Лакатос, П. Фейерабенд, У. Куайн и т. д.), это вопрос о неявном знании (М. Полани), эпистемологические разрывы в культуре (М. Фуко). Однако преувеличение значения разрывов в деятельности приводит некоторых авторов к выводу о распадении науки как таковой (П. Фейерабенд). В этом случае распадается также и основание стиля в науке.

В дальнейшем мы постараемся обосновать положение, согласно которому полная природа стиля науки может быть раскрыта только с выявлением нового многомерного бытия науки, ее культурно-исторической онтологии. Это главная цель работы.

§ 2. Стиливые формы теории, логики, метода научной деятельности

В научно выраженной истине всегда есть отражение — может быть чрезвычайно большое — духовной личности человека, его разума.

В. И. Вернадский

Разрыв деятельности может возникать каждый раз, когда в деятельность включается, вступает новый субъект. Это необязательно исторически новый субъект (новая эпоха, общество и т. д.), но любой, в том числе индивидуальный, субъект. Что необходимо новому субъекту для успешного подключения к деятельности, что гарантирует установление отношения между различными субъектами деятельности, а следовательно, и непрерывность самой деятельности? Как возможно соединение результата научной деятельности (как правило, это знание, претендующее на истинность, объективность, а значит, независимость от какого-либо субъекта) с конкретным человеком, вступающим в эту деятельность?

Теория и новый субъект деятельности

Одним из основных результатов научной деятельности является научная теория, объективированная в языке, средствах, методах научного познания. Теория как результат никогда не дана в «чистом виде». В реальном процессе научно-познавательной деятельности отдельные теории всегда генетически, структурно и функционально включены не только в целостную систему научного знания, но и функционируют в необходимой связи с мировоззренческими, ценностными установками, с нормами общения и социальных отношений, предполагают вполне определенного исторически, социо-

культурно подготовленного субъекта. Сама теория — это не некий абсолютный инвариант, но относительно устойчивый сгусток «различных предметно-смысловых и ценностных кругозоров»²⁹.

Научное знание как результат научной деятельности не только тождественно с объектом (в случае его истинности), но и служит образцом, говорит об успешно осуществленной деятельности. Результаты деятельности соответствуют меркам самого объективного мира, но одновременно являются реализованными объективированными целями.

Если представить теории как чисто объективные формы, результаты деятельности, оторванные от научной картины мира, как абсолютно утратившие связь с целями осуществленной деятельности, то такие теории окажутся таинственными предметами, реликтовыми образованиями, нуждающимися в особом исследовании. Такие «теории» или иные результаты науки окажутся своего рода вещным или знаковым осадком деятельности, выключенным из ее дальнейшего функционирования, недоступным для субъекта познания, начинающего очередной цикл. Теории, как и любые другие продукты культурной деятельности человека, «живут» и соединяются с живой научно-познавательной деятельностью до тех пор, пока они не утрачивают единство своего предметного содержания с социокультурным смыслом.

Конкретные теории всегда имеют социокультурные формы. Главная функция теории — давать адекватное отражение объекта — несколько не противоречит другому свойству теории — быть носителем знания, говорящего о субъекте. Причем в теории само знание об объекте одновременно является и знанием о субъекте: так как знание об объекте — это всегда в своих основаниях элемент научной картины мира, определенного субъектного видения реальности; т. е., будучи знанием об объекте, теория уже тем самым включена не только в отношение субъект — объект, но и в отношение субъект — субъект, интенционально направлена на полемику с другими научными позициями, характеризует субъектную позицию в науке.

Идеал теории как знания бесстрастного, предельно объективного, возникший в Новое время, сама практика научной работы классического периода, в соответствии с которой из результатов научной деятельности исключается все, что говорит об интенциональных структурах знания, связанных с самим субъектом, могли сложиться только потому, что к этому времени уже сформировался новый субъект научной деятельности, а сами нормы, принципы, ценностные установки познания прояснились и стали общепризнанными и общеизвестными. Задача заключалась уже не в том, чтобы отыскать адекватные научному познанию ценностные нормативы, но в том, чтобы неотступно, без уклонений, следовать им

и достигать желаемых истинных результатов. Общезначимость внетеоретических структур деятельности, определенность самого субъекта научной работы, а также выявленность и конкретность социальной потребности практического субъекта, получавшего результат науки, привели к тому, что стало излишним каждый раз в каждой работе вскрывать и делать явным сам путь к истине, мировоззренческие регулятивы субъекта познания. Субъект познания становится действительно как бы прозрачным, всюду одинаковым именно в силу объективно достигнутой относительной однозначности социальных предпосылок научного познания. Классическая наука по сравнению с наукой Возрождения уже определила свой выбор, остановившись на конкретном наборе ценностных ориентаций субъекта науки. Именно поэтому из научных текстов устраняются все следы связи научных теорий с диалогом позиций, с борьбой мнений и т. д. В то же время практически все работы представителей Возрождения написаны как диалоги. Так, в работах Галилея мы видим (это показал В. С. Библер), как идет свертывание в единую позицию различных подходов, кругозоров, в позицию, в рамках которой и возникает новая теория. Теория здесь еще непосредственно являет свою связь с социальными отношениями, мировоззренческими позициями субъектов.

Однако историческое развитие науки выявило и изменчивость субъектных, культурно-смысловых установок научного исследования, а тем самым поставило проблему культурно-исторической вариабельности форм знания и форм самоопределения человека науки.

Интенциональность теории как наличие в ней смысловых слоев, говорящих о субъекте познания, и есть то, что можно назвать стилевой формой теории.

Интенциональность в данном случае мы понимаем предельно обобщенно, как открытость, выходение за свои пределы. М. М. Бахтин непосредственно связывал стиль со сферой специфической интенциональности, интенциональности как открытости диалогу. Стилистический облик слова, согласно Бахтину, создается игрой словесных интенций в диалоге. «Если мы представим себе интенцию, то есть направленность на предмет, такого слова в виде луча, то живая игра и неповторимая игра цветов и света в гранях строяемого им образа объясняется преломлением луча-слова не в самом предмете... а его преломлением в той среде чужих слов, оценок и акцентов, через которую проходит луч, направляясь к предмету: окружающая предмет социальная атмосфера слова заставляет играть грани его образа»³⁰. В этом процессе слово обретает «свой стилистический облик и тон»³¹.

Аналогично интенциональность теории вызывается к жизни не только направленностью на предмет, но многократными отраже-

ниями и взаимоотражениями теории на сферу субъектных, социокультурных предпосылок познания. В этих измерениях она и приобретает свой стиль. Интенциональность теории может иметь разные формы выражения. Но, видимо, одной из главных форм является связь теории с научной картиной мира (НКМ).

Теория в «нормальном» своем функционировании включена в технологию научной деятельности, является ее предметным основанием. Пока в этом функционировании не возникает противоречий, не возникает и необходимости обращаться к субъектному измерению теории. Поскольку теория не подходит к границам объекта, нет необходимости исследовать границы ее субъектных оснований. Но как только такие коллизии возникают, происходит процесс так называемой дезонтологизации теории. Первый этап — это сопоставление теории и НКМ через многократные проекции теории на НКМ (это исследовано В. С. Степиным). Дело в том, что НКМ — это не «чистая онтология», но онтология, предельно возможная для данного конкретно-исторического субъекта. Теория всегда является оптимизированной точкой в поле этой предельно возможной онтологии. Если и в результате этих процедур соотношения теории и НКМ противоречия не снимаются, то происходит дезонтологизация самой НКМ и выявление адекватности социальной позиции самого субъекта как носителя НКМ.

Не случайно исследования социокультурной детерминации научного познания начались с исследованиями НКМ. НКМ — это не просто предпосылка теории, но предельно возможная форма самой теории, та ее интенциональная, до поры до времени не развернутая структура, через которую теория выходит в социальный контекст. Разворачивание теории до НКМ обнаруживает не только ее объектные, но и субъектные границы. Через НКМ теория как бы сбрасывает свою отчужденную от субъекта, абстрактно-объектную форму и становится компонентом общения различных субъектов, различных видений мира, компонентом научного общения и общественных отношений в науке. Поэтому именно НКМ можно считать структурой, непосредственно связанной со стилем науки.

Логика и новый субъект деятельности

Логика, особенно после Гегеля, считается высшим развитием способности человека отражать в формах мышления сам объект. Тожество мышления и бытия, снимающее всякую зависимость наших суждений от эмпирического субъекта, — главный принцип гегелевской логики.

Однако на различных этапах развития научного мышления в разных формах вставала одна и та же проблема: как возможно

мышление индивидуального эмпирического субъекта по законам надындивидуальной логики; как возможна «чистая логика», незамутненная человеческими страстями и сложностью социальных отношений, если сама она вырастает из этих отношений; и, наконец, как логика может быть средством развития науки, мышления о действительной жизни, если она будет абсолютно замкнутым образованием, никак не связанным с самой жизнью.

Сегодня интерес к этим проблемам стимулируется исследованиями по моделированию интеллектуальных процессов на ЭВМ³². В рамках современной логики этот вопрос формулируется так: «как возможно, чтобы символическая логика, строящаяся на непсихологическом базисе, давала нам информацию о психологических характеристиках мышления»³³.

Обсуждение этих проблем периодически приводило к всплеску дискуссий психологистов и антипсихологистов в логике.

Для психологизма характерны рассмотрение общезначимых логических законов, таких, которые могут быть сведены к различным эмоциональным состояниям индивида и направлены на выработку должного поведения субъекта при решении некоторой индивидуальной психологической ситуации; трактовка познания в целом как зависимого от индивидуальных способностей познающего; понимание логики как логики отношений между людьми. Программу антипсихологизма отличают трактовка логических законов, знания в целом в качестве априорных и независимых от познающего; отрицание связей между логикой, наукой вообще и реальными условиями, в которых работают ученые, стремление исключить из науки все социальные и антропологические характеристики; поиск идеальных условий существования научно-теоретического знания, где все факторы реального (реальные исторические традиции, то, что связано с существованием науки как института, индивидуальные характеристики ученых и т. д.) должны быть исключены³⁴.

Отделение логики объективного мира от логики субъекта и социальных отношений явилось необходимой предпосылкой формирования научного познания. Но само это разделение не может быть абсолютным, не может быть произведено однажды и навсегда уже вследствие развития объективного мира и самого человека. Обострение дискуссий по поводу логики как раз и происходит в периоды, когда возникает необходимость выработки новой меры единства логики объективного мира и логики субъекта, осмысления их новых форм и различий между ними. Психологизм и антипсихологизм и явились одной из исторических форм решения этой проблемы. Вместе с тем психологизм в его крайних выражениях ведет к субъективизму в теории познания, а антипсихологизм в логике встает перед проблемой соединения надличностных

норм логики с конкретным субъектом, с конкретной ситуацией познания. Представляется справедливым вывод А. А. Баталова: «Достигнутое обществом в ходе культурно-исторического развития сознательное различие «логики вещей» и «логики взаимоотношения людей» есть ценнейший принцип мышления. Но этот принцип не уничтожил двухплановости мышления, он лишь помогает каждому новому поколению и отдельно взятым индивидам разделять эти планы в конкретных ситуациях»³⁵.

Сегодня задача состоит не в том, чтобы отрицать какую-то из этих сторон (как это происходило в психологизме и антипсихологизме), но в том, чтобы понять их в диалектической сопряженности, раскрыть социальные и гносеологические причины того, почему в самом процессе познания то одна из этих сторон логики (логики вещей), то другая (логика субъекта) объективно выдвигается на первый план. Как логика, так и познание в целом — это такая деятельность, где существенную роль играет сам познающий субъект, его цели, практические отношения к миру, и это накладывает свой отпечаток вплоть до самых объективированных структур мышления, познавательной деятельности.

Исторически можно говорить о различных формах сосуществования логики аподиктической, логики всеобщего как логики объекта, и логики диалогической, диалогических форм функционирования логики. Уже в антропогенезе, по мнению Б. Ф. Поршнева, становление мышления происходило в борьбе логики субъект-объектной (направленной на знание вещи) с логикой субъект-субъектной (направленной на внушение, на подчинение человека человеку)³⁶. В теоретической форме уже у Аристотеля логика как теория была представлена в двух формах — аналитики и топики. Если аналитика — это логика всеобщего, то в топике логические структуры истолковываются как элементы диалога. Топику можно рассматривать как практическое приложение аналитики в сфере диалогического общения, спора и т. д. Она и по форме написана как учебное руководство к овладению навыками дискуссии, спора, доказательства в диалоге. Топика представляет «логику живого общения, приемы защиты своей позиции и опровержения позиций своих оппонентов. Диалектика как логика спора имеет дело с иным, вероятным знанием, функционирующим в споре; будучи топологической логикой, диалектика имеет дело с регулятивами устной беседы, диалога, с процедурами опровержения и критики различных позиций»³⁷. А. П. Огурцов показывает, как в истории науки неоднократно происходило как бы свертывание логики диалога в логику всеобщего, необходимого знания. Топика оказывается источником другой формы существования знания — логики доказательно-го, всеобщего, аподиктического знания. В противовес средневековым диспутам многие гуманисты утверждают необходимость уеди-

нения для научной работы. На смену диалогам Возрождения приходят каноны логики Нового времени. Логика всеобщего аподиктического знания вместе со становлением каждой своей новой формы свидетельствовала и о становлении логики всеобщего в самом субъекте, о выделении относительно всеобщей позиции в многообразии мнений. Развитие субъекта, его потребностей, социальных отношений, каждый новый этап проникновения в сущность объективного мира вызывал пересмотр, перестройку логической позиции субъекта, что и происходило в борьбе мнений, в спорах, диалогах; логика всеобщего переходила в форму топологической логики. Раскрытие именно субъектной стороны функционирования логики, понимание логики как формы социальных отношений в научном познании выводит к проблеме стилевых форм логики.

Метод и новый субъект познания

Поскольку знания и логика являются в той или иной форме компонентами метода, научной технологии, то можно говорить и об интенциональных (направленных на субъект) аспектах технологии. Сама технология относительно варьируется не только при переходе от одного объекта к другому объекту, но и при переходе от одного субъекта к другому, а следовательно, существует в конкретно-исторических формах.

Важнее другое. Дело в том, что до сих пор технологическая сторона научной деятельности рассматривалась преимущественно как метод. Однако технология многоаспектна, и если методы науки составляют объективную сторону самой технологии, то субъектной стороной технологии является научная традиция. Методы науки через научные традиции получают как бы субъектно-значимую маркировку и становятся «узнаваемыми», приемлемыми для нового, вступающего в деятельность субъекта. До сих пор применительно к науке фактически не ставился вопрос как, каким образом субъект выбирает тот или иной метод и принимает решение осуществить поиск нового метода. Соединение метода и субъекта, очевидно, невозможно вне и помимо социокультурной маркировки методологических средств. В случае общезначимости ценностных параметров метода в научной среде ученых выбор субъектом осуществляется подчас автоматически (как бы минуя проблему осознанной ценностной ориентации); когда же выбор метода является проблемой, запускаются в ход не только объективные характеристики методов, но и социально-ориентировочные, связанные с традицией, с прецедентом употребления того или иного метода, маркировки метода.

В этом случае метод, слитый с традицией его субъектного употребления, выступает образцом деятельности. Отдельные аспекты такого функционирования метода (или любого другого компонента научной деятельности) схвачены Т. Куном в понятии парадигмы. Вместе с тем фактически не исследованы вопросы о различии функционирования метода как средства познания объекта и как парадигмы научной деятельности и о единстве этих функций метода.

Понятие традиции вообще еще практически не включено в гносеологию научного познания. Причина заключается в том, что в самой науке гносеолога долгое время интересовали преимущественно объектные аспекты деятельности (технология как метод).

Традиция может быть понята как субъектно-практическая форма организации научной и вообще любой технологии. В отличие от метода науки научная традиция обращена к субъекту. Будучи также по своему механизму воспроизводящейся технологией, традиция диалогична, каждый ее компонент (образец, канон, знаковый маркер) — это свернутое субъект-субъектное отношение, диалог между субъектами прошлого, настоящего и будущего. Через традицию новый субъект включается в деятельность. «...Народная традиция — через предметную деятельность развивающего эту традицию коллектива — определяет размерность человечески возможного в отношении к прошлому, настоящему и будущему»³⁸.

Через традицию субъект как бы примеривает деятельность по себе, устанавливает соответствие своих личностных возможностей и запросов деятельности. Объективно традиция всегда ориентирует на тот или иной калокатийный образец деятельности, как правило, персонифицированный в личности и деятельности того или иного ученого, научного лидера, признанного авторитета (или неформального лидера). В традиции деятельность и ее результат выступают со стороны их неотчуждаемости от личности, слитости с нею.

Традицию можно считать стилевой формой метода науки. Вместе с тем вопрос о специфике научных традиций, о способе их соединения с другими компонентами научной деятельности еще нуждается в тщательном изучении.

* * *

Таким образом, для того чтобы начался новый цикл деятельности, субъекту необходимы знания, логика, методы. Но субъект может их освоить, только выявив в них субъектные смыслы и значения. Знания, логика, методы должны предстать как бы сплавленными в некий единый субъектный образец деятельности.

Научное знание как результат деятельности не только тождественно объекту, не только говорит об оптимальном методе оперирования с объектом, но и служит образцом успешно осуществленной деятельности. В научном знании, особенно в его генетических начальных формах, в исходной клеточке, всегда слиты по крайней мере три аспекта: предметность (логика); операциональность (метод) и интенциональность (стиль). Это различные функциональные контексты научного знания, которые определяются формами включения знания в структуру социокультурных отношений науки. Последняя характеристика знания выражает то, что знание как результат деятельности может быть эталоном деятельности, идеальным продуктом³⁹ образцом, который характеризует деятельность не только со стороны развернутости в ней объектных социально-технологических характеристик, но со стороны реализации сущностных сил самого человека.

§ 3. Стилиевая среда науки

Наука погибла бы без поддержки трансцендентальной веры в истинность и реальность и без непрерывного взаимодействия между научными фактами и построениями, с одной стороны, и разным мышлением — с другой.

Г. Вейль

Соединение предметного результата деятельности (теории) с субъектом деятельности предполагает объективацию самого субъекта, а не только субъективацию теории. Освоение теории именно как предметного знания возможно, если субъект владеет средствами различения объекта и субъекта деятельности, способами объективации самого себя как субъекта деятельности. Соединение и переплетение двух разных по направлению движений — к субъективации предметного знания и к объективации знаний о самом субъекте — приводит, очевидно, к возникновению посредников этих процессов, формы которых многообразны. Главное свойство этих посредников — быть своеобразным сплавом объектных и субъектных характеристик деятельности и представлять научные знания, вводить их в поле культуры.

Признание сферы посредников, представляющих знания в культуре, позволяет осмыслить как не случайные, а закономерные, многократно повторявшиеся в истории мысли попытки связать стиль со сферой, выходящей как за рамки субъекта, так и за рамки объекта. «Если простое подражание,— как считал Гете,— зиждется на спокойном утверждении сущности (это сторона объекта.— Л. А.), на любовном его созерцании, манера — на восприя-

тии явлений подвижной и одаренной душой (это сфера субъективного.— Л. А.), то **стиль** покоится на глубочайших твердых познаниях, на самом существе вещей, поскольку нам дано их распознавать в зримых и осязаемых образах»⁴⁰. Шеллинг понимал стиль как своеобразный сплав идеального и реального, как идеальное, воплощенное в реальном и придающее тем самым реальному форму и осмысленность⁴¹. Подлинной субстанцией стиля, как и искусства в целом, у Шеллинга не случайно является мифология как некая натуралистически понятая стихия, сплавливающая идеальное и реальное, сознательное и бессознательное, это «вечная материя, из которой все формы проступают с таким блеском и разнообразием»⁴². Поиски такой своеобразной онтологии стиля, в рамках которой сливались бы объективное и субъективное, были характерны для всего направления немецкого романтизма.

С точки зрения современности думается, что эта особая сфера, на которую опирается стиль, может быть отождествлена с посредниками деятельности. К ним можно отнести вещные посредники (орудия труда, предметы культуры, любые искусственно созданные предметы), знаковые посредники (язык и др.), институционально-функциональные посредники (парадигмы, традиции, нормы, обычаи, навыки и т. д.), личностно-персонифицированные посредники (человек как образец, авторитет, образ человека). Разве не является любой предмет культуры, орудие труда, вещь и т. д. выражением самого существа, представленного «в зримых и осязаемых образах?»

Опишем сначала детально эти различные типы посредников деятельности. В работах советских и зарубежных психологов давно высказывается идея о том, что уже на чувственном уровне человеческое познание невозможно без посредников, выполняющих роль эталона, установки восприятия. Сами посредники обозначаются у различных авторов по-разному: «рамки» восприятия (У. Найссер), «установка» (Д. Н. Узнадзе), «надсознательное» (М. Г. Ярошевский), «система чувственных качеств объекта» (А. В. Запорожец и др.), «образно-концептуальная модель действительности» (В. П. Зинченко и др.), «объект-гипотезы» (В. А. Лекторский). В. А. Лекторский показал, что эти посредники познания имеют не только идеальное бытие (в голове ученого или в общественном сознании), но объективированы, сплавлены с предметами-посредниками. «Осуществление акта познания как специфически-человеческого отражения, воспроизведения существенных характеристик объекта предполагает не только активную деятельность субъекта с предметом, но и создание человеком, т. е. в кооперации с другими людьми, определенной системы «искусственных» предметов, опосредующих процесс отражения и несущих в себе познавательные нормы, эталоны»⁴³.

Сам по себе выход гносеологии в сферу социокультурной предметности очень важен, и применительно к анализу науки он достаточно развернуто осуществлен В. А. Лекторским впервые. До сих пор эпистеомология в качестве таких посредников рассматривала только знаковые (преимущественно языковые) структуры, не выходя в сферу предметно-практической деятельности. Вопрос о предметах-посредниках научного познания не прост уже потому, что до сих пор остается дискуссионным понимание социальной предметности. Достаточно очевидно только то, что социальная предметность отлична от природной предметности и что сама она представлена в различных формах. Ю. П. Андреев относит к социальной предметности, опосредующей общественные отношения, не только вещную предметность, но и институциональную, а также знаковую ⁴⁴.

Представляется, что и в научном познании сфера предметов-посредников не может быть ограничена только вещной предметностью, но должна быть дифференцирована. Однако если отличие социальной предметности от природной не вызывает особых дискуссий, то критериально обоснованной, общепринятой классификации форм социальной предметности нет. Классическим стало различение природной и социальной предметности по субстратно-функциональному признаку. Считается, что «если природное бытие предмета обладает атрибутивными свойствами, то социальное бытие — функциональными... Природный субстрат (социального. — Л. А.) предмета сохраняет свое существование, но его сущность определяют в обществе социальные функции» ⁴⁵. «Если свойства предмета природы присущи ему изначально, то социальные свойства приобретены лишь в системе общественных отношений и деятельности. Свойства эти отвечают тем или иным требованиям субъекта, т. е. они полезны, что делает возможным использование объекта в определенных целях» ⁴⁶. Выделяется, однако, и другой тип социальной предметности, который уже и по субстрату, и по своему функционированию может быть назван социальным. А. А. Баталов различает социальную предметность, порожденную **трудом**, в этом случае мы получаем предмет натуральный, природный по субстрату и социальный по своим функциям; и социальную предметность, порожденную **социальной практикой**, где на первый план выходят отношения между человеком и человеком, а предметность оказывается социальной уже не только по функциям, но и по субстрату ⁴⁷. К этому второму типу социальной предметности можно отнести устойчивые, воспроизводящиеся формы самих общественных отношений.

Охарактеризуем применительно к науке институционально-функциональные и социально-проективные образцы, посредники деятельности. К ним можно отнести любые функционально устой-

чивые, воспроизводящиеся структуры и комплексы в деятельности и социальных отношениях: организации, традиции, ритуалы, обычаи, парадигмы, навыки, образ жизни и т. д. С ними сплавлены такие культурно-значимые компоненты деятельности, как технология, стереотипы, нормы, правила, приемы, операции (те или иные, конкретные в рамках определенного функционального посредника). Как отмечает Е. Д. Бляхер, воплощенность культурных образцов в функционально-устойчивые формы становится преобладающим в современной культуре по сравнению с воплощением их в предметно-морфологических формах⁴⁸. Тяготение к функциональному, а не к субстратно-морфологическому воплощению объясняется еще и тем, что культурные посредники деятельности все больше выполняют не столько функцию канонизации, простого воспроизводства деятельности, но все больше выступают средством предвосхищения инновационных процессов практики. «Своими культуропорожденными характеристиками он (культурный образец.— Л. А.) осуществляет культурную антиципацию (предвосхищение результата до акта деятельности) и тем предопределяет образ деятельности агента (участника) культуры, ее морфологию и последовательность, формальные и функциональные характеристики продукта»⁴⁹. «Культурный образец — не просто эталон, прототип культурного объекта, а в первую очередь его проект...»⁵⁰. «Особенностью культурной антиципации является ее целесообразность при принципиальном отсутствии механизмов целеполагания: цель не полагается сознанием, а берется готовой, сформировавшейся в коммуникативных сетях культуры и предвосхищенной в культурном образце. Поэтому, в отличие от развернутых оперативных последовательностей целеполагания, культурная антиципация есть свернутая и неструктурированная операция»⁵¹.

Инновационность современной культуры порождает и активизирует не только проективную функцию самых различных культурных образцов, но и особый тип этих образцов — посредников, специально выполняющих функцию антиципации. Сюда надо отнести такие образования, как планы, программы, проекты, проектные модели и образцы, идеалы и т. д. Эту группу посредников можно назвать социально-проективной. Основанием для выделения этой группы является и выделение проектирования в особый вид деятельности, выполняющий общекультурные функции, и наличие отмечаемого специалистами целого пласта так называемой проектной культуры⁵².

Если институционально-функциональные и вещные посредники так или иначе описаны в литературе, то практически нигде нет развернутого теоретического разговора о том, что главным посредником при включении нового субъекта деятельности в процесс познания является другой (другие) субъект(ы). Исключение самого

человека как посредника научного познания происходит в нашей литературе, как нам представляется, в силу двух причин: а) превалирования редуктивно-предметного подхода⁵³, когда сам человек рассматривается только через внешние ему формы предметной (преимущественно вещной) объективации; б) и в силу абстрактного понимания (ставшего абстрактным) самого субъекта познания⁵⁴, что особенно симптоматично для научного познания, где субъект вообще оказался лишенным не только телесности, но и конкретно-социальных человеческих характеристик.

Предметная представленность человека до сих пор остается за рамками гносеологии, и в частности теории научного познания. Но повседневная практика, а также история познания убеждают в том, что среди всей системы образцов, предметов-посредников именно образ человека, сам реальный человек выступает главным образцом деятельности для другого человека.

Обоснование этому есть уже в ряде психологических концепций. В исследованиях Д. Б. Эльконина это показано на материале воспитания детей в игре. Даже при наличии у детей определенных игрушек (вещных посредников), при предварительном знакомстве их с конкретным процессом деятельности (институционально-функциональные посредники), правилами, операциями, например, работы пекаря, врача, парикмахера и т. д.; дети не могут сами начать игру до тех пор, пока воспитатель сначала не покажет им, как играть, т. е. своим примером даст им образец конкретного поведения. Через личностный пример, образец происходит как бы соединение всех компонентов деятельности в целостность, в конкретное единство. Начиная с подражания взрослому (как личностному образцу), ребенок затем уже все более и более независимо от взрослого вступает в игру. Роль личностного образца с самых первых дней рождения ребенка берет на себя прежде всего мать. Дети, выросшие без матери, без конкретного личностного участия взрослого, отстают в развитии именно потому, что нет такого личностно-организующего центра, объединяющего в себе смыслы и значения окружающих ребенка предметов и отношений. Личностные образцы важны не только в период первоначального развития, социального взросления человека. Огромная роль личностных образцов в эти периоды начального приобщения человека к деятельности и социальным отношениям лишь выявляет их общезначимость в любом акте, в любой период, когда встает задача подключения человека к деятельности, задача восстановления или установления отношения человека к культуре, предметной среде и т. д. Это оказывается возможным только через восстановление отношения человека к другому человеку. Так, привлекает в науку не технология деятельности (которая новому субъекту часто просто неизвестна) и даже не важность научных

результатов как таковых, но прежде всего личностные образцы — образ того или иного ученого («делать жизнь с кого?»). Гельмгольц любил повторять мысль о том, что уже одно общение с великим человеком изменяет духовный мир ученика навсегда. «Кто раз столкнулся с одним или несколькими из передовых людей, у него на всю жизнь изменяется умственный масштаб. Вместе с тем это столкновение составляет самое интересное, что может представить жизнь»⁵⁵.

Роль личностного образца в науке нельзя отрицать только потому, что в определенные периоды научного развития ориентация на авторитеты признавалась несовместимой с научностью. Такая установка особенно характерна для позитивистской эпистемологии. Нужно отличать позитивную роль авторитетов (личностных образцов) в науке от их фетишизации. В. И. Копалов выделяет как особую форму фетишистского сознания авторитарное мышление. В период средневековья, когда на первый план в структуре социальных отношений вышли отношения личной зависимости, только сам человек (другой человек, сеньор, бог) мог выступать эталоном, посредником любого вида деятельности. Вещь, тем более природный процесс, эксперимент не могли и не считались критерием истины, так как сами выступали чем-то вторичным, второстепенным по сравнению с личностным образцом как социально закрепленным фетишем (а не конкретной, реальной личностью). Поскольку личностные образцы выполняют прежде всего функцию посредников, средств, осуществляющих непрерывность, преемственность деятельности, то абсолютизация личностных образцов, авторитетов (причем вполне определенных, социально однозначных и канонизированных) автоматически приводила к исключению даже возможности творчества. Абсолютизация, фетишизация определенных личностных авторитетов обратной своей стороной имела массовое обезличивание деятельности каждого нового, вступающего в нее субъекта, вела к анонимности культуры в целом. Как известно, подражательство, эпигонство, плагиат отнюдь не были чем-то оцениваемым негативно, но скорее составляли суть неписаных норм деятельности.

Реакцией на такую структуру авторитарного мышления и явилась эпистемологическая позиция науки Нового времени, суть которой — в отрицании необходимости следовать авторитетам. «Истина — дочь времени, а не авторитета», — писал Ф. Бэкон. Однако абсолютное отрицание личностных образцов столь же неверно отражает особенности функционирования науки, как и их абсолютизация. В идеале истинное знание как будто не нуждается в личностных маркировках, вместе с тем на протяжении всей истории науки, например, авторская номинация текстов оказывалась неустранимой. Даже средневековье изменило лишь формы

номинации (сделало ее символичной — зашифрованной), но не отменило ее совсем. Имеет ли авторская номинация гносеологическое значение или является только внешним, сопутствующим признаком науки? Думается, что имеет.

Если истинное знание достигнуто и стоит задача его применения, то, в принципе, гносеологически уже мало значимо авторство знания. Однако если познание рассматривать не только со стороны его результата, но как процесс, то нельзя отвлечься от функции истинного знания быть образцом для последующей научной деятельности. Здесь и оказывается важной авторская номинация. Обращение к субъектному знанию (к имени автора) говорит новому субъекту познания о пути к истине, содержит более емкую информацию о личностных приемах творческой работы (например, теория относительности неразрывно связана с именем, а тем самым с творчеством, судьбой личности, с личностным культурным масштабом Эйнштейна), указывает на школы, традиции и уникальность индивидуальной работы ученого, на его стиль. Авторская номинация как бы включает нового субъекта творчества не просто в технологию научной деятельности, но в систему межсубъектного общения, позволяет определить свой «неформальный колледж» и «оппонентный круг» (термин М. Г. Ярошевского). «Наиболее замечательные и совершенные произведения человеческого духа, — писал академик С. И. Вавилов, — всегда несут на себе ясный отпечаток творца, а через него и своеобразные черты народа, страны, эпохи. Это хорошо известно в искусстве. Но такова же и наука, если только обращаться не просто к ее формулам и к ее отвлеченным выводам, а к действительным научным творениям, книгам, мемуарам, дневникам, письмам, определившим продвижение науки»⁵⁶.

Имя автора фактически выступает свернутым знаком, расширяющимся в целую систему знания о субъекте деятельности. Помимо авторской номинации теоретических текстов, другим маркером, который через посредство работы стилиа может быть развернут в субъектное знание, является цитирование. Именно цитирование как языковой стилевой маркер позволяет определить меру монологичности или диалогической (полилогической) развернутости текста. И в данном случае крайности также неприемлемы: как абсолютная монологичность (отсутствие ссылок — посылов к другим субъектам), так и обилие цитат (потеря собственной позиции в обилии мнений других субъектов) либо свидетельствуют о незрелости автора, либо о его недобросовестности. Однако в истории науки часто негласно в идеал возводится именно монологичность (как отсутствие цитат), а цитирование считается признаком дурного тона. Причины этого те же, что и причины отрицательного отношения к авторитетам, личностным образцам в науке.

Исследование посредников деятельности неизбежно подводит к вопросу, все ли посредники являются одновременно и **культурными** посредниками?

Венгерский социолог культуры И. Витаньи к сфере посредников деятельности относит различные типы объективаций⁵⁷. Объективация понимается автором как удвоение субъекта, вынесение им себя вовне, овеществление в продуктах, средствах, целях деятельности и т. д. Выделяются материальные объективации (средства производства, продукты труда) и духовные. Духовной объективацией, носящей характер **средства**, является прежде всего язык, любая семиотическая система. Объективациями, имеющими характер **продукта**, являются готовые произведения. Объективации характера **цели** — это идеи, представления, трактовки, воззрения, категории, общественно-политические и этические формы поведения.

Разработка детальной типологии объективаций (в том числе и форм объективации знаний) является непосредственной заслугой И. Витаньи. Несогласие с позицией Витаньи возникает, когда автор приходит к отождествлению культуры и сферы объективаций. «Культура как **деятельность**, — пишет Витаньи, — представляет собой создание, освоение, преобразование и использование этих обладающих ценностью объективаций, и **как вещь** она является совокупностью объективаций человеческих отношений, овеществленных в объективациях»⁵⁸. На наш взгляд, такой подход лишает культуру исторического измерения. Главной трудностью для Витаньи оказывается невозможность отличить культуру от не-культуры: поскольку все имеет или может иметь объективацию, то все имеет отношение к культуре. В предельно абстрактном смысле это действительно так, но предельные абстракции не схватывают конкретики исторического процесса, в котором всегда происходит как рождение культурно-значимого, так и отмирание устаревших культурных ценностей.

Сфера посредников не может быть сведена к объективациям (нужно учитывать и сложные процессы субъективации, взаимодействия объективного и субъективного). Кроме того, необходимо различать культурные посредники и культурно-нейтральные посредники деятельности, что возможно только при конкретно-историческом подходе. Сфера культурных посредников не сводима к сфере объективаций не только потому, что она уже последней, но и потому, что она выходит за рамки субъектно-объектных отношений в том смысле, что охватывает основания и условия возможности субъектно-объектного взаимодействия, а следовательно, разворачивается в других, более объемных, измерениях. Культура опосредует субъект-объектные отношения именно потому, что выходит за их рамки в систему отношений «человеческое — бесчело-

вечное», «человечески осмысленное и человечески бессмысленное», отношений одного конкретно-исторического человеческого мира к другому. Сфера субъект-объектных отношений, будучи опосредована культурой и сама являясь высшим проявлением культуры, достигнутым человеком в рамках определенного исторического состояния, вместе с тем не отражает всего богатства культурных отношений.

Поэтому объективации (формы, порождаемые субъект-объектным отношением) не могут исчерпывать всех форм культурных образцов. Среди слоя объективаций, кроме того, всегда есть такие, которые либо еще не являются культурно-значимыми, либо уже вышли из сферы культуры. Из объективаций к культурным посредникам можно отнести лишь те, которые не утратили своей связи с культурно-исторической действительностью человеческих существных сил, которые сохраняют интенциональную открытость миру человека и человеческого.

Отождествление культуры со сферой объективаций или даже просто ограничение культурных отношений жесткой привязкой к операциям с объективациями (т. е. замыкание ее в рамках субъект-объектных отношений) неизбежно ведет к редукции всей полноты культурного бытия человека к его частичным (хотя и весьма распространенным) формам. Такие культурные размерности, как культурный потенциал человека, культурные ожидания, связываемые с тем или иным человеком, сообществом, эпохой, культурные состояния не всегда объективируются, реализуются, получают оправдание, но тем не менее входят в бытие культуры. Как, например, ответить на вопрос: является ли культурным бытием существование только что родившегося ребенка? С позиции теории объективаций, видимо, надо ответить отрицательно, ведь сам ребенок не производит никаких объективаций, кроме природно-телесных. Вместе с тем такой вывод идет вразрез с гуманистическими ценностями культуры, согласно которым ребенок — высшая ценность и страдания даже одного ребенка ставят под сомнение культурную ценность целой цивилизации.

Выход к анализу сферы посредников показывает, что знание может рассматриваться не только со стороны предметного содержания, но и как функционирующее в другом — культурном измерении. Знание входит в различные устойчивые и малоустойчивые образования, которые выделяют его из нейтрального фона, означивают и представляют субъекту. Это уже поле представленных форм знания. «В системе культуры, — пишет Б. А. Парахонский, — знание выступает как семантически данная реальность и упорядочивается в ценностно смысловых структурах, вырабатываемых традицией, опытом развития данной культуры. Знание функционирует как реальная составляющая самой культурной и исторической

жизнедеятельности людей, т. е. теснейшим образом связано с миром субъективных интенций и с ценностно-нормативными структурами культуры, которые составляют реальное пространство познавательной деятельности»⁵⁹.

Культурный полиморфизм представленного знания издавна фиксировался в истории философии. К формам представленного знания можно отнести эйдетические формы (эйдосы — как вершина предметно-смысловой оформленности действительности, представленной в знании — Демокрит, Платон, Гуссерль и др.), феноменологическое многообразие знания, зафиксированное Гегелем (сферы сознательной человеческой деятельности: познание и самосознание; уровни: чувственное, представляющее и понимающее сознание; конкретно-исторические формы бытия духовных образований: стоическое, скептическое, несчастное сознание), «доксы» (суждения обыденного знания) и «эпистемы» (философское доказанное знание) — противоположности, зафиксированные в античной рефлексии, топологические структуры знания риторики; калокагатия (предметно воплощенный идеал совершенства) — Платон; идеологические, модельные формы организации знаний и т. д. Это сложные образования, причем ранее выделенные посредники деятельности (вещные, институционально-функциональные, знаковые, личностно-персонифицированные) являются по отношению к ним элементарным уровнем носителей.

Культурно представленное знание — это особая сфера, опосредующая переходы и взаимосвязи между субъектом и объектом познания, изученная явно недостаточно. Б. А. Парахонский пишет о сложной структурированности этого мира культурных форм, выделяет его различные интенциональные пространства и многоуровневые, многообразные процедуры означивания, оформления, разворачивающиеся прежде всего на языковом уровне. Главную трудность, на наш взгляд, представляет понимание того, какие формы представленности знания и специфические механизмы означивания приводят к возникновению в этом культурном слое стилизованных образований. Сопоставлением исторических тенденций анализа стиля в различных областях (искусствоведение, лингвистика, философия, науковедение) позволяет зафиксировать то, что стиль как объективный культурный феномен укоренен в сложных, очень динамичных (подчас приобретающих характер виртуального существования) образованиях, возникающих во вторичных, а возможно, третичных и т. д. слоях культурного означивания знаний. Стиль приобретает реальность, когда единичные, случайные значения и смыслы начинают оформляться в сложные системы, поля, локусы или топосы значений, приобретающие относительную устойчивость и характеризующиеся многозначностью, объемностью, многообразием своего бытия. По законам димензиональной онтологии

(В. Франкл)⁶⁰ стиливые структуры всегда как бы выводят в новое объемное измерение ранее разрозненные значения и смыслы (подобно тому как фигуры квадрата и круга дают новую фигуру — стакан).

Стиль упорядочивает поле смыслов и задает основные ориентации в соединении знаний и субъекта познания, кроме того, в самом субъекте выделяются при этом его интенциональные, культурно-значимые измерения.

Стилевые образования динамичны, так как складываются на основе механизмов **доминирования** (так, например, научные концепции, картины мира могут организовываться вокруг общих для культуры символов⁶¹) и на основе **предпочтения**. Стилистическое — это то, что каким-то образом выделяется из стилистически нейтральной среды. Фон Габеленц понимал стилистику как изучение **предпочтений**, оказанных писателем тем, а не иным языковым средствам. По Марузо, стиль есть «выбор», «отступление» от «нейтрального состояния» языка, от стилистически нейтрального высказывания, от «возможно менее характеристической формы языка». По Гиро, наличие стиля можно обнаружить статистически: слова, частотность которых ненормальна у данного автора по сравнению с частотностью их у большого числа писателей, являются для первого ключевыми. По Риффатеру, стиль связывается с вероятностью попадания тех или иных элементов в тексте. А. Кибеди Варга определяет стиль как неожиданность. По Р. Якобсону (1958), для стиля имеет значение «неоправдавшееся ожидание»⁶². Однако, как отмечает Ж. Мунен (и на этом акцентирует свое внимание А. Ф. Лосев), «эта теория стиля никогда не снимала следующего центрального возражения: не всякий выбор делает стиль, не всякое повышение уровня информативности текста есть стиль. Пока на этот вопрос нет ответа, мы еще не знаем, что такое стиль...»⁶³.

Это действительно наиболее сложный вопрос. Стиль опирается на глубинные общие механизмы предпочтений, но несводим к их частным видам: эстетическим, этическим, религиозным или научным. Однако структура даже частных видов предпочтений еще не ясна в полной мере. Например, попытки экспериментальной эстетики выделить основания предпочтения тех или иных предметов или их характеристик как эстетических окончились фактически неудачей⁶⁴. Развитие этих исследований показало, что основания предпочтений не редуцируемы ни к чисто природным свойствам, ни к свойствам человеческого восприятия, но относятся к сфере интеграции сенсорного и духовного, субъективного и объективного, индивидуального и социального. Исследование системы эстетических предпочтений выводит исследователей к понятию стиля и так называемого чувства стиля (М. А. Валлах), однако и здесь представления о стиле остаются достаточно расплывчатыми.

Можно сделать предположение, что особенностью стилевых форм представленности знаний является их неизбежная привязанность к **моделям конкретного реального существования**. Опираясь абсолютно всеми средствами культурно-означивающей сферы, стиль в конечном итоге центрирует все смыслы вокруг образов реально-значимого конкретного бытия. Знание может быть предметным знанием определенного среза объекта и оставаться стилистически нейтральным, однако оно сразу же приобретает стилевую окраску, если включается в широкую модель видения мира, которая придает предметному знанию статус реально представимой модели объекта. Из всего поля интенциональных значений стиль ориентирован, очевидно, на те из них, которые придают содержанию знания значимость реального существования как конкретно-исторического образования. Последнее особенно важно, так как редукция исторического измерения в анализе стиля сразу же порождает множественные парадоксы неразличимости стилистического и нестилистического (стилистически означенное в один исторический период и в одной стилистической ситуации становится стилистически нейтральным в другом историческом времени). Безотносительно к исторической реальности такое различие провести просто невозможно. Историческая реальность фактически является в особых своих измерениях собственно средой стилистических различий и новообразований. Не случайно для описания сферы интересубъективного Гуссерль вводит представление о времени. Именно временной характер сознания «конституирует трансцендентальную интересубъективность, поскольку является условием возможности модификаций Эго, а эти модификации выступают как другие Я»⁶⁵. Полная реальная явленность, оформленность, представленность Я, тем более различие между Я и другими, оказывается возможной только в исторической реальности, на чем мы специально остановимся в главе III, где попытаемся раскрыть связь исторической реальности и стилевых структур.

В науке формируются специфические механизмы предпочтений (тематизация, категоризация, научный авторитет и престиж и т. д.), организующие особое поле культурных смыслов и значений, свои формы представленности знаний. Как показали исследования в области инженерии знаний (обеспечивающие возможность диалога человек — компьютер), формы представления знаний многообразны, но могут быть подразделены на две основные группы: представление знаний через выявление их логической структуры в формах логических и формально-математических моделей (логико-теоретическое направление) и представление знаний через выявление смысловых полей, особенностей осознания чего-либо человеком. Главным свойством моделей во втором случае является их выразительность. Представление научного знания в большей сте-

пени опирается на логико-математические модели, но невозможно и без развития второго направления.

В этом просматривается особенность представления научных знаний, тесно связанная с историей развития науки. Своеобразной нормой, образом научности, только начиная с XX века поставленной под сомнение, длительное время признавалась необходимость таких результатов научного исследования, которые могли бы быть представлены в объективированной, максимально обезличенной, универсальной форме. Логико-математическая представленность знаний считалась идеалом и эталоном науки. Есть много интерпретаций истоков формирования этих норм. Их связывают и со становлением науки Нового времени в период расцвета техники и вещных отношений, когда именно технические сооружения, вещи представлялись эталонами, посредниками в выработке научного знания (Л. М. Косарева). В. С. Библер объясняет это возникновением нового «социума культуры», особенность которого в Новое время заключается в том, что он развивается в «контексте совместного труда». Именно потому, что результаты научной деятельности включаются в оборот «совместного труда», они приобретают особую логическую форму. Чисто технологическое потребление знаний, когда оно, не задевая самого человека, ничего не меняя в нем самом, должно было просто включиться как готовый товар в производство вещи и породило необходимость особой формы его представления, снимая в ней все индивидуально-личностное и оставляя только технологически (логически) всеобщее. В этот период «естественнонаучное знание ориентировано «на профанов» или, говоря мягче, на возможность и необходимость использования знаний, выработанных в одной области, представителями других профессий, которые могли бы применять эти знания, не вскрывая их упаковки, не любопытствуя «как это сделано». Естественнонаучная ориентированность теоретической мысли в идеале делает неважной, несущественной индивидуальность не столько автора (как обычно утверждается), сколько читателя, **адресата** теоретических посланий. Знай формулу, вовремя применяй ее, а дальше результат вычислений или построений зависит не от тебя»⁶⁶.

Наиболее устоявшейся интерпретацией этой ситуации является утверждение: наука исключает стиль. Сами результаты научного труда таковы, что они, минуя различные культурные слои, непосредственно включаются в технологию деятельности, лишь внешним образом соединяясь с субъектом (потребителем). Однако отношение науки и производства — это лишь один из срезов ее бытия, возможность которого была тоже подготовлена культурно-исторически. В самой же науке получение такого «технологически чистого», объективированного результата всегда было лишь итоговым этапом деятельности, предварявшимся и многообразными «нечистыми

продуктами». Наряду с представленностью знаний в логико-математических, объективированно-безличных формах существовали формы неформализуемого, личностного, индивидуально выразительного, метафорического знания. Даже в истории математического знания, как это отмечает Г. Вейль, сопряженно, параллельно во все эпохи развивалось как предельно абстрактное, оторванное от человека, так и связанное с человеческой жизнью и культурой знание. Например, строгой математике всегда сопутствовало ее магическое, мифологическое, философско-натуралистическое истолкование⁶⁷. Очевидно, не без взаимодействия этих различных форм бытия математики сегодня возникло ее совершенно необычное направление, в котором преодолевается доминирование аксиоматического типа мышления. В. И. Арнольд для обозначения такого направления в математике ввел термин «математика с человеческим лицом»⁶⁸.

Гуссерль, как никто иной, вскрыл сложные механизмы приближения сознания к «чистым формам мысли». Феноменология Гуссерля решает важнейшую проблему — каким образом реальная конкретная данность предметов достигается работой механизмов сознания. «Появление предметности благодаря работе механизмов и структур, принадлежащих собственно сознанию, — интересный, как отмечает Н. М. Мотрошилова, — генетический аспект феноменологии»⁶⁹. Движение к «чистым феноменам» у Гуссерля предстает как многоступенчатый, многофазный процесс восхождения и нисхождения (редукции и конституирования феномена). «По существу, — пишет Н. М. Мотрошилова, — процедура «нисхождения» к полноте феномена и «восхождения» к «чистым сознанию, феномену, структуре, сущности повторяется в каждом важном шаге, узле феноменологического суждения»⁷⁰. Наполнение феномена, восстановление его многомерности фактически может быть осмыслено как неустранимость из работы сознания процедур означивания, культурного расцветивания, без чего невозможно воспроизведение феномена как реально существующего. Фактически это поле работы стиля, которое, конечно, не ограничивается полем сознания. Такие категории гуссерлевского анализа (отражающие этапы «нисхождения» к полноте феномена), как позициональное сознание (в титических актах приписывающее предмету реальное существование), эйдетический анализ во внешнем и внутреннем горизонте (объективирующая апперцепция, интеллектуальное усмотрение эйдоса), понятие горизонта интенции и смены горизонтов в трансцендентальном анализе, могут быть переосмыслены как выражение структуры стиля. Самого Гуссерля интересовали в большей степени этапы редукции, очищения, именно чистое сознание представляется ему и высшей точкой развития сознания (на этапе логических исследований), однако в отличие от Гегеля

он фактически показал неустранимую внутреннюю сопряженность и как бы волновую смену процедур, очищающих сознание и наполняющих его конкретными измерениями.

В науке так же, как и других областях человеческого познания, сопряжены различные формы представлений знаний, однако в определенных культурно-исторических топосах доминируют логикоматематические, инвентарные, безличностные, объективированные формы.

В силу этого второй особенностью науки, ее стилевой сферы является то, что стилевые характеристики как бы свертываются, кодируются в виде специфических маркеров в структуре готового результата деятельности. Если в искусстве стилевые структуры представлены большей частью в их развернутой, непосредственно представимой форме (по любому, за исключением бездарных, продукту искусства можно судить о стиле), то в науке, особенно в той ее форме, как она развивалась в Новое время, судить о стиле можно только в результате сложных процессов реконструкции, когда за кодом (маркером) в результате сложного специального анализа раскрывается стиль. В искусстве преобладало движение от кода к стилю, в науке — от стиля к его кодированию в результатах деятельности. Но то, что такая маркировка все равно оказывается существенной для науки, как и для любой другой деятельности, где она встречается, хорошо показано в работе М. Фуко «Кто автор». В этой работе М. Фуко прослеживает не что иное, как процесс свертывания, перекодировки значений от полного вопроса (и предполагаемого полного ответа) «Кто творец?», через вопрос «Кто автор?» — к фиксации имени автора (как оставшегося маркера) и его функций в дискурсии⁷¹.

Третьей особенностью стилевой сферы науки является, на наш взгляд, отсутствие развернутых форм представленности субъектного знания, знания о субъекте. Хотя это знание постоянно накапливалось в науке, перманентно обнаруживались многообразные культурные наслоения на стороне субъекта (предрассудки, мнения, идолы и т. д.), однако более активно разрабатывались процедуры редукции субъективного (Бэкон, Монтень, позитивисты и т. д.). Полная представимость человеческого, однако, была также неустранимой потребностью научного творчества, но реализовалась она подспудно и, как правило, венаучными средствами (философией, культурой в целом). Соотношение этих аспектов, неодинаковая их означенность в научном мышлении была в свое время хорошо выражена Монтенем: «...но кто способен представить себе как на картине великий облик нашей матери — природы во всем ее царственном великолепии; кто умеет читать ее бесконечно изменчивые и разнообразные черты; кто ощущает себя — и не только себя, но целое королевство — как крошечную,

едва приметную крапинку в ее необъятном целом, только тот и способен оценить вещи в соответствии с их действительными размерами»⁷².

Неотрефлексированность культурно-исторического, стиливого измерения в науке, хотя и несомненное наличие такого культурного слоя, явилась причиной отсутствия понятия «стиль науки» как в самосознании науки, так и в различных философских и культурологических исследованиях самого стиля, вплоть до XX века.

§ 4. Стиль как условие воспроизводства научной деятельности

Познание не есть захват мертвого объекта хищным гносеологическим субъектом, а живое нравственное общение личностей, из которых каждая для каждой служит и объектом и субъектом.

П. А. Флоренский

Традиционная гносеология выделяла только один тип, один путь реализации знаний: это превращение научных знаний в вещь. Этим исследование научного познания и ограничивалось.

Сам процесс превращения знания в вещь уже не считался предметом гносеологии. Гносеология занималась только исследованием отношений «на входе» познавательной деятельности (и то не в полном объеме), анализировала сам процесс познания в его оптимальных, технологизированных формах. Процесс познания представлял как однонаправленный от субъекта к объекту (или от объекта к субъекту), и внимание было направлено прежде всего на изучение опредмечивания способностей субъекта в знании, а затем в вещи.

Современная гносеология не только исследует более широкое социальное основание научной деятельности («на входе»), не только рассматривает сам процесс познания как социально наполненный, имеющий ценностное измерение, а следовательно, вероятностный, не сводимый только к оптимальным методологическим структурам, но и обращается к анализу познания «на выходе» в практическую реализацию научных знаний и в культурный горизонт человека, общества, эпохи. В современную эпоху заметно усилилось воздействие науки сначала опосредованное, а затем все более непосредственное на формирование самого человека. Становится возможным говорить, что результатом научной деятельности является не только знание, воплощенное в вещи, но знание, воплощенное в самом человеке.

А это означает, что стала более прозрачной та сеть собственно социокультурных межсубъектных отношений (как на входе, так и, особенно, на выходе научного познания), в рамках которых

формируются цели, смысл, потребности, образцы самой научно-познавательной деятельности, и не учитывать сегодня гносеологу эту сферу нельзя. Применительно к научному познанию оказалось очень важным понять как опредмечивание творческой активности человека в научной деятельности, так и то, каким образом происходит распредмечивание результата деятельности в формах самого субъекта. В научной деятельности очень сложно сопряжены, с одной стороны, процедуры редукции многообразных субъектных форм видения объекта к подчас единственно возможной технологии (методу), а с другой стороны, процедуры распредмечивания безличностных, объектных форм (научных знаний, научного аппарата, языка, методов и т. д.) в смылосодержательные установки деятельности субъекта.

Знание возвращается в процесс научного творчества и служит основой приращения нового знания не в силу простого обращения в цикле научной технологии, но в процессе его сложного распредмечивания. Осмысление значимости наличного знания происходит у человека в процессе социокультурных отношений, через выявление в самом знании субъектных смыслов и маркировок его социокультурной ценности. Становится очевидным, что само знание — это только одна из форм опосредования реальных отношений между людьми.

Уже в отношении субъекта к результату предшествовавшей деятельности (в частности, к научному знанию) содержится его отношение к другому субъекту. Знание как образец успешно проведенной деятельности содержит социокультурные стилевые маркировки, говорящие о субъекте. Согласно классическому идеалу, знание по содержанию должно быть тождественно объекту, а его субъектная форма должна как бы уходить в основание, редуцироваться, стягиваясь к безмерной точке. И этот идеал достижим постольку, поскольку наука дает объективно-истинное знание. Не случайно И. Кант считал формы мышления пустыми, бессодержательными. В рамках традиционной гносеологии они и казались такими нуль-субъектными измерениями знания. Однако картина, составленная из оптимальных результатов познания, из его «пиковых точек», не отражает еще весь процесс познания. Перед современной гносеологией стоит та же проблема, что и перед традиционной — как, какими оптимальными путями достичь истинного знания, как элиминировать произвольные параметры самого субъекта. Однако поскольку сам процесс познания все больше понимается как вероятностный исторический процесс, то есть такой, где сам субъект познания распределен подобно волне, виртуальной частице, меняет способы своего самоопределения, то задача гносеолога состоит в том, чтобы каждый раз уметь выявить объективные, неустранимые флуктации субъекта, его явленность, в

том числе в знании об объекте, с целью уже в теории отчленить знание о субъекте от знания об объекте. Но знание о субъекте отнюдь не является только некой нежелательной примесью научного познания, но выполняет само по себе целый ряд позитивных функций, без которых процесс познания просто бы прервался. И первая его функция — это функция социокультурной приемственности, функция социокультурного маркера результатов научной деятельности, что позволяет новому субъекту познания подключаться к деятельности.

Научное знание теряет свои существенные характеристики не только тогда, когда оно утрачивает предметность, но и когда оно утрачивает свои субъектные параметры, свою связь с субъектом познания и деятельности. Книги, которые никто никогда не сможет прочесть, «не содержат более никакого знания... Знание не может существовать «в себе» совершенно безотносительно к его использованию в познавательной деятельности конкретных людей»⁷³. В начальном пункте познания уже само вычленение предмета всегда преследует определенные цели: предметная определенность как бы сращена с целевой определенностью (А. А. Баталов). Без выявления субъектных параметров результата деятельности невозможно его включение в новый цикл деятельности, его соединение с позицией субъекта.

Анализ социокультурных, субъектных параметров научного знания очень сложен, и нарушение норм диалектического подхода может вести к двум крайним позициям: к превращению научного знания в самостоятельный надличностный субъект деятельности или к его предельной персонификации. И в том и в другом случае происходит утрата предметного содержания научного знания. В первом случае распадение предметности научного знания происходит вследствие отрыва знания от конкретной развивающейся действительности во всем многообразии ее проявлений (самозамкнутый «третий мир» К. Поппера не только образец обезличенного, оторванного от конкретного субъекта знания, но и знания, утрачивающего вследствие отрыва от исторической реальности свое предметное содержание). Во втором случае в результате крайней релятивизации знания, жесткой привязанности, неотделимости знания от субъекта как личности предметное значение распадается во множестве субъектных единичных мнений. Л. А. Маркова показывает, что все попытки социологического подхода зарубежных исследователей к анализу научного знания и познания страдают как раз забвением предметной, содержательной его стороны. «...В микросоциологии научное знание конструируется социальными поступками и отношениями, полностью случайными для содержательной стороны научного знания; вопрос в соотношении научного знания с реальной действительностью снимается, уступая

место релятивизму, господству случайности и произвола. Отрицается специфика науки, состоящая в том, что научная деятельность есть познавательная деятельность, направленная на познание внешнего мира таким, каков он есть, независимо от человека и любых форм социальности. Это приводит к возможности отождествления науки с совершенно иными, ненаучными формами отношения человека к действительности, такими как мифология, религия, искусство и т. д.»⁷⁴. Содержательная сторона научного знания оказывается чем-то совершенно лишним или же просто разрушается в соединении с ограниченно понимаемой социальностью науки, сведенной либо к безграничной субъектной вариативности позиций, либо к надличностной социальной нормативности науки.

Думается, здесь важно раскрытие самого механизма и форм соединения субъектных и объектных параметров науки.

Если говорить о научной теории, то тенденция к ее «распредмеченному» пониманию проявляется в последнее время довольно сильно и в советской литературе. Требование за каждым отношением вещей (или идей) видеть отношения людей подчас понимается слишком однозначно: сама теория начинает персонифицироваться, обретать в буквальном смысле конкретное лицо. «Осубъективировать научное знание,— пишет Л. А. Маркова,— нужно таким образом, чтобы в нем сохранился субъект как творец. Для этого в самой теории надо увидеть различные типы деятельности. Теория не только сумма ответов, но и сумма вопросов, и как таковая она есть нечто неуравновешенное, теория выступает как проблема, как задача, как не только понимание, но и непонимание, как система несоответствия понимания и непонимания. Теория осваивается как определенный уровень теоретизирования, а не как определенный уровень знания»⁷⁵.

При попытке наполнить теорию субъектным измерением сверх меры мы имеем перед собой уже не теорию и даже не знание, но вопрос, проблему, противоречие и т. д., т. е. освоение субъектом теории требует трансформации самой теории в нечто, что уже самой теорией не является или же является теорией, но в каком-то совершенно неузнаваемом проявлении. Желая найти субъектное лицо теории за границами определенной меры, мы рискуем столкнуться со своего рода оборотничеством, с превращением теории в не-теорию. Выявляя субъектные измерения научного знания, утрачиваем предметное содержание теории, и наоборот. Есть ли выход из этого парадоксального положения?

Думается, выход есть в том случае, если подходить к процессу функционирования теории конкретно-исторически. В рамках определенной меры (которая исторична и социокультурна) необходимо признать наличие в науке предельно объектных (предметных) слоев знания, в которых сама субъектность сведена как бы к точке

(которой в некоторой степени можно пренебречь). Получение такого знания, где субъектность как бы выводится в основание, остается скрытой, а объектность заполняет собой все знание, остается всегда неотъемлемой функцией науки. Ставить под сомнение ценность научной теории прежде всего как предметного знания (как ответа, а не только как вопроса) было бы явной уступкой субъективизму. Именно в предметности (истинности), в совпадении с объектом — главная субъектная ценность научной теории.

Как же быть с субъектными характеристиками теории? Логически здесь возможно два подхода. Во-первых, необходимо различать контексты функционирования теории и соответственно ее возможные и действительные функциональные формы. Во-вторых, надо признать не непосредственный, но опосредованный характер соединения теории с субъектом деятельности.

Теория присутствует в научной деятельности в различных функциональных формах: как предельно объективированное знание (в этом случае теория выступает средством познания объекта, основанием научных методов); теория в функции образца успешно проведенной предшествующим субъектом деятельности (здесь она уже выступает как элемент связи между различными субъектами, главным остается ее предметное содержание, но в функции образца), и наконец, теория может выступать формой самоопределения субъекта. Освоение субъектом теории, теоретического знания как системы свидетельствует и о его субъектной подготовленности к деятельности. Теория в этом случае выступает как критерий калогатийности деятельности субъекта в науке, как теоретичность этой деятельности. Теория действительно трансформируется в способ теоретизирования, не отчуждаемый от субъекта, разворачивается в научную картину мира, открывает свою связь с различными возможными подходами к пониманию объекта и т. д.

Эти способы, формы существования теории необходимо различать. Было бы ошибкой считать, что теория в любом случае — это всегда субъектно-наполненное знание, что она в явном виде всегда содержит все субъектные параметры знания. Наполнение теории субъектным измерением приводит к ее разрушению либо вообще как знания, либо как знания научного. Однако в процессе познания происходит и постоянное преобразование теории из формы чисто объективного знания в форму деятельности субъекта, форму его творческого самоопределения и обратно. Сам этот процесс не является непосредственным, не есть он и следствие неких порождающих способностей самого знания или иных объективированных структур. Соединение объектной (объективированная теория) и субъектной сторон деятельности может быть только следствием опосредующей этот процесс активности самого субъекта.

Чтобы теория «вернулась» из своей объективированной формы в живую деятельность конкретного субъекта, необходимо входящие в нее маркеры стиля развернуть в поле культурно-значимых смыслов науки. Но это может произойти не само собой, а через посредство самоопределения субъекта в многоцветии позиций, мнений, смыслов, видений объекта, через прехождение самим субъектом технологически абстрактного способа отношения к предмету, знанию. Таким образом интенциональные структуры знания (теории) и интенциональные структуры самого субъекта должны как бы срезонировать на фоне культурно-означенных слоев научной деятельности и взаимно усилить друг друга. Это особенно очевидно в процессе обучения. Усвоить абстрактные теории и положения науки человек любого возраста не может, не конструируя собственные интенциональные измерения знаний, свои какие-то очень специфичные, не предназначенные для высказывания, оглашения модели, образцы, используя для этого самые различные доступные ему посредники. У детей это помещение новых знаний в мир фантастических отношений сказки, в модели игровых ситуаций, у взрослых — конструирование уникальных образов-посредников (приписываемый всюду наблюдатель в теории Эйнштейна, модель корабля у Галилея, разного рода наглядные схемы, аналогии и т. д.). Сеймур Пейперт подчеркивает, что в становлении его как ученого огромную роль сыграло то, что он с детства научился любое знание делать своим, понятным через модель «передаточного механизма». «Я был просто влюблен во вращающиеся наподобие шестерен круглые предметы... Пользуясь в качестве моделей зубчатыми передачами, я совсем иначе постигал многие абстрактные идеи. Мне особенно запомнились два примера из школьного курса математики. Таблица умножения, которую я воображал в виде зубчатых передач, и мое первое решение уравнений с двумя неизвестными (типа $3x + 4y = 10$), сразу представившееся в виде дифференциальной передачи. Как только я представил модель из шестерен, связанных между собой отношением x к y , я смог посчитать, сколько зубцов требуется каждой из шестерен, и это уравнение сделалось моим добрым другом»⁷⁶. «Постепенно,— пишет С. Пейперт,— я сформулировал то, что до сих пор считаю фундаментальным фактом учения: любая вещь дается легко, если вам удастся ассимилировать ее в совокупности собственных моделей. Когда же этого не получается, то что угодно может оказаться мучительно трудным»⁷⁷. В экспериментальной методике диалогового обучения С. Ю. Курганова выявилось как закономерность построение ребенком в ходе решения той или иной проблемы своего уникального образа-видения предмета. Эти детские модели могут быть весьма неуклюжими, совершенно выпадающими из рамок общепринятого, но этим они и ценны, так как они «удерживают

неповторимую позицию ребенка, его точку зрения, его «избыток видения» в конкретном образе»⁷⁸. Эти образы-модели, как считает С. Ю. Курганов, являются средствами, в которых «удерживается, концентрируется в достаточно конкретном, наглядном обозримом конструкте видение обсуждаемой проблемы»⁷⁹. А раз удерживается, то, значит, и выделяется из поля ничейного знания, берется как средство оформления собственного мышления, определения собственной позиции. Для обозначения этих образов-посредников учеными и педагогами предлагается много терминов: эйдетические структуры (А. Ф. Лосев), «личностное знание» (М. Полани), образ-монстр, модель-монстр, гипотеза-монстр (С. Ю. Курганов), «сфинкс внутренней речи» (В. Ф. Литовский); «фантазм» (А. Б. Добрович). Но не в термине суть, а в том, что удалось выделить действительно новое явление — культурные посредники мысли.

Наличие стиля у человека как раз и говорит о возможности постоянного выхода в интенциональные измерения знания, о том, что познание невозможно без личностного своеобразия самого познающего. Своеобразие — это не что иное, как умение преодолевать механизмы, сбрасывающие в обезличенность, индустриально-технологические, конвейерные, отупляющие способы тиражирования ничейного знания и сознания. Стилиевые структуры — это как раз те «защепочки» (как говорят, «за живое задело», «душу затронуло»), которые оживляют, одухотворяют, означивают, выделяют определенные знания из потока объективированных форм, а самого человека «вытягивают» в новые размерности, открывают перед ним новые горизонты. Стиль, выделяя человека из обезличивающего и замыкающегося в себе технологического процесса (мышления, производства, жизни), придает знанию, мышлению, деятельности свое лицо, свой почерк.

Интересно, что в плане семиологическом стилистическое понимается как особое проявление так называемой экспрессивной семантики. Экспрессивная семантика выводится из антропологического подхода к явлениям языка, в соответствии с которым язык создан человеком и для человека. Это то, что присваивается именно говорящим человеком, чтобы выразить себя, свое отношение к сообщаемому факту. Ввиду того, что долгое время лингвистика исключала из поля рассмотрения связь языка с конкретным человеком, то и стилистический фактор выносился исследователями за рамки лексического значения, рассматривался как нечто вторичное, несущественное для смысла высказывания. Но все чаще обнаруживается, что абстрагирование от личности субъекта, стилистических структур дает редуцированную и крайне обедненную модель, которая не отражает реальные процессы производства и восприятия речи⁸⁰. Игнорируя стилистическую компоненту, нель-

зя запустить речевую единицу в процесс общения, сделать ее инструментом коммуникации⁸¹. Стиливая информация придает содержанию слова тонкие нюансы, что и позволяет его использовать в конкретной ситуации общения применительно к конкретной предметной области⁸².

В рамках культурно-исторического подхода в когнитивной психологии вводится представление о сложных механизмах **переопосредствования** в деятельности и общении.

Любая ситуация общения или деятельности является опосредованной. Однако возможность адекватного понимания, передачи знаний, навыков, действий осуществима только при постоянном изменении способов и форм опосредования (переопосредствования) в конкретной ситуации общения. Процедуры переопосредствования неразрывны с культурными резервами субъектов, непосредственно определяются ими. От характера культурного потенциала субъектов зависит диапазон выбора средств опосредствования, точность «настройки» «резонансных» предпочтений, обеспечивающих глубину взаимопонимания. Так, при референциальном опосредовании (т. е. соотнесении высказывания, текста с действительностью) диалог будет плодотворным, если субъекты способны к переопосредствованию референции (т. е. к замене одного объекта-посредника другим или новым способом предъявления старого)⁸³.

Проведенные в Калифорнийском университете исследования трудностей, возникающих в обучении детей чтению, показали, что источник основных трудностей заключается в сложностях формирования переопосредствования, которое необходимо при переходе от письменной к устной речи. Традиционные методики обучения чтению концентрируют внимание на технике чтения, как правило, это методы редукции слов к алфавиту, причем считается, что обратный процесс: от алфавита к словам — чтению является делом чистой техники, осуществляется автоматически. Традиционная технология тем самым совершенно не включает в поле зрения как раз то, что происходит при переходе от письменной к устной речи, от техники чтения к осмыслению. Но трудности в обучении чтению большей частью возникают как раз потому, что у ребенка либо не образуются посредники, позволяющие перейти от алфавита к целостному смысловому прочтению текста (а этих посредников, как показывает анализ чтения взрослых, очень много, скачок от алфавита к чтению не происходит автоматически), либо образуются неадекватные посредники. Если в первом случае учащийся даже не может начать читать и процесс обучения затягивается, то во втором случае учащийся как бы читает, производит впечатление медленно, плохо читающего (но бывают случаи и быстрого чтения), но не понимает смысла читаемого. Это фактически имитация

чтения, чтение автоматическое, в котором разъединились техника и смысл⁸⁴.

На примере этих исследований становится очевидным, что деятельность и общение даже не могут начаться или приобретают неполные, имитационные формы, если в распоряжении человека есть только технологические составляющие деятельности, но нет достаточно богатой и доступной культурно-опосредующей среды. В сложной динамике опосредующих и переопосредующих механизмов существенно наличие стиля как постоянно обновляющихся и удерживаемых доминант, вокруг которых образуются «резонансные поля», позволяющие субъекту точно настроиться в конкретной ситуации общения и деятельности.

Аналогично и в научном познании без стилевых маркеров и их разворачивания окажется несостоявшейся конкретная ситуация общения и творчества. Для того чтобы теория (или любое объектное знание) стала субъектно-осмысленной, воспринятой новым, субъектом, совсем необязательно, чтобы все субъектные параметры деятельности были воплощены именно в самой теории. Сама теория, как правило, содержит лишь свернутые субъектные маркеры, которые могут быть распрямлены, развернуты лишь через посредство активности самого субъекта, вступающего в деятельность, в отношение к другому субъекту. Эти маркеры указывают новому субъекту, как связать теорию с НКМ, логику развернуть в диалогику, методы связать с определенной научной традицией, парадигмой, личностным навыком, и, наконец, отсылают к субъектному знанию. Но приводятся они в действие через механизмы стилевого самоопределения субъекта.

Стиль научного мышления организует в целостность развернутую систему опосредований субъект-объектного и субъект-субъектного отношения, а поэтому естественно, что стиль необнаружим, если мы заранее ограничим исследование научной деятельности ее редуцированными субъект-объектными формами. Стиль в одной своей предельной точке есть характеристика самосознания, самоотношения субъекта как интенционального, не замкнутого и самодостаточного, но культурно-самоопределяемого; в другой точке стиль, по существу, является реальным отношением различных субъектов, вступающих в процесс научного познания.

Стиль принципиально невозможен без сопряжения различных субъектных позиций, подходов, видений объекта. В науке сферой проявления стиля является соотношение различных научных позиций отдельных ученых, различных направлений, научно-исследовательских программ, парадигм, научных школ и т. д. При этом существенной чертой научной деятельности является то, что самосознание субъекта в науке и объективные познавательные отношения разворачиваются и формируются по поводу и вокруг отношения к

объекту познания. Стиль как единство самосознания субъекта и объективного отношения в конкретной познавательной ситуации всегда предполагает, с одной стороны, полную (самоосознанную) погруженность в данное видение объекта, в определенную позицию, но, с другой стороны, столь же необходимым является и «отстранение» от данной позиции, данного видения объекта, восприятие его в отношении к другим субъективным видениям объекта.

В отличие от стиля в методе позиция субъекта уже представлена не в форме реального отношения различных позиций, но в форме единого самосознания. Именно в стиле идет работа по «свертыванию» реального межсубъектного отношения в самосознание субъекта, в единое уникальное видение объекта. Стиль по существу и есть это постоянное пульсирующее движение от объективного отношения к свертыванию его в самосознание субъекта и от самосознания к объективным формам его выражения в отношении. Стиль — это не спокойное «пробегание» по различным субъектным позициям; в научном поиске стиль как отношение разворачивается в формах живого противоречия. Стиль функционирует через возникающие и разрешающиеся противоречия различных научных позиций. Впервые осознанно это было зафиксировано Н. Бором в сформулированном им принципе дополнительности. Стиль начинает осознаваться как необходимая работа по столкновению и теоретическому преодолению противоречивости научных направлений. В отличие от стиля, в методе уже снята противоречивость различных видений объекта, метод внутренне исключает противоречия подобного рода. Метод становится возможным как раз после того, как достигнуто принципиальное разрешение глубинных противоречий на уровне стиля, научного мировоззрения. Противоречие, если оно возникает внутри метода, ставит под сомнение его адекватность объекту, его существование как метода, возможность его функционирования, в то время как в стиле столкновение противоречий является необходимым внутренним условием его работы.

Мы проанализировали функцию стиля как особой формы деятельности, ответственной за разворачивание свернутых субъектных маркеров научного знания в развернутое субъектное знание, в способы самоопределения субъекта. Именно эта функция стиля позволяет новому субъекту подключиться к деятельности, войти в межсубъектное социальное отношение. Стиль как бы разворачивает диалогические интенциональные структуры знания и возвращает его в каналы научного общения. С другой стороны, стиль — это не что иное, как историческое самоопределение субъекта в пространстве культуры.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ **Habermas J.** Knowledge and Humain Interests // Hesse M. *Revolutions and Reconstructions in the Philosophy of Science*. Bloomington; London. 1980. P. 179—183.

² См. **Порус В. Н., Никифоров А. Л.** Эволюция образа науки во второй половине XX в. // В поисках теории развития науки. М., 1982.

³ См.: **Федотова В. Г.** Штарнбергская группа (ФРГ) о закономерностях развития науки // *Вопр. философии*. 1984. № 3.

⁴ **Rip Arie.** A cognitive approach to science policy // *Research policy*. Vol. 10. N 4. 1981. P. 300.

⁵ **Некрасов С. Н.** Социальный прогресс и проблема фетишизма. Свердловск, 1989. С. 70.

⁶ Там же. С. 81.

⁷ **Кара-Мурза С. Г.** Советская наука и бюрократическая система: грани взаимодействия // *Вопр. философии*. 1989. № 4. С. 59.

⁸ **Ясперс К.** Современная техника // Новая технократическая волна на Западе. М., 1986. С. 144.

⁹ Там же. С. 145.

¹⁰ **Кара-Мурза С. Г.** Указ. соч. С. 66.

¹¹ **Richter M. N.** Science as a cultural process. Cambridge, 1972. P. 16.

¹² **Collins H. M.** The Replication of Experiment in Physic. Science in Context // *Readings in the Sociology of Science*. 1982. P. 95—96.

¹³ **Elkana Y.** A programmatic attempt at an antropologi of knowledge // *Sciences and Culture*. 1981. P. 8.

¹⁴ Ibid P. 9—10.

¹⁵ **Хайдеггер М.** Вопрос о технике // Новая технократическая волна на Западе. С. 58.

¹⁶ См.: **Автономова Н. С.** Познание — общество — рациональность // *Филос. науки*. 1989. № 7.

¹⁷ **Касавин И. Т., Сокулер З. А.** Рациональность в познании и практике. М. 1989. С. 107.

¹⁸ **Elkana Y.** P. 14—15.

¹⁹ **Granger G.** Essai d'une philosophie du style. Paris, 1968. P. 265.

²⁰ **Polikarov A.** Methodological Problems of Science. Sofia, 1983. P. 214.

²¹ Ibid. P. 215.

²² Ibid. P. 217.

²³ **Ясперс К.** Духовная ситуация времени // *Филос. науки*. 1988. № 12. С. 102.

²⁴ Там же. С. 105.

²⁵ **Малкей М.** Наука и социология знания. М., 1983. С. 41.

²⁶ *Философские науки*. 1989. № 7. С. 77.

²⁷ *Античные риторика*. М., 1978. С. 311.

²⁸ *Общая риторика*. М., 1986. С. 362—363.

²⁹ **Огурцов А. П.** Исторические типы дискуссий и становление классической науки // Роль дискуссий в развитии естествознания. М., 1986. С. 72.

³⁰ **Бахтин М. М.** Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 90.

³¹ Там же. С. 91.

³² См.: **Бирюков Б. В.** Человеческий фактор в логике в свете проблемы «искусственного интеллекта». Четыре контрверзы логической мысли в кибернетике // *Кибернетика и диалектика*. М., 1978. С. 212—235.

³³ **Брюшинкин В. Н.** О значении различения понятий «вывод» и «поиск вывода» // *Филос. науки*. 1984. № 4. С. 53.

³⁴ **Сорина Г. Б.** Психологизм и антипсихологизм о роли логики в научном познании (конец XIX — начало XX в.) // *Филос. науки*. 1986. № 6. С. 60—68.

- ³⁵ Баталов А. А. Понятие профессионального мышления. Томск. 1985. С. 160.
- ³⁶ Поршнев Б. Ф. О начале человеческой истории // Проблемы палеопсихологии. М., 1974. С. 483.
- ³⁷ Огурцов А. П. Указ. соч. С. 57.
- ³⁸ Лучанкин А. И. Методологические проблемы исследования традиций народной культуры // Филос. науки, 1986. № 6. С. 33.
- ³⁹ Плотников В. И. Генезис ценности // Ленинская теория отражения. Ценностные аспекты отражения. Свердловск, 1977. С. 21.
- ⁴⁰ Гете И. В. Простое подражание природе, метод, стиль // Гете И. В. Соч.: В 16 т. М.; Л. 1937. Т. 10. С. 400.
- ⁴¹ Шеллинг Ф. В. И. Философия искусства. М., 1966. С. 72—73.
- ⁴² Там же.
- ⁴³ Лекторский В. А. Субъект, объект, познание. Свердловск, 1977. С., 163.
- ⁴⁴ См.: Андреев Ю. П. Содержание и структура общественных отношений. Саратов, 1985.
- ⁴⁵ Копалов В. И. Общественное сознание: Критический анализ фетишистских форм. Томск, 1985. С., 19.
- ⁴⁶ Иванов Г. М., Коршунов А. М., Петров Ю. В. Методологические проблемы исторического познания. М., 1981. С. 14.
- ⁴⁷ Баталов А. А. Указ. соч. С. 57.
- ⁴⁸ Бляхер Е. Д. Культурный образец // Категория образа в марксистско-ленинской гносеологии: структура и функции. Свердловск, 1986. С. 127.
- ⁴⁹ Там же. С. 27.
- ⁵⁰ Там же. С. 28.
- ⁵¹ Там же.
- ⁵² Сидоренко В. Ф. Генезис проектной культуры // Вопр. философии. 1984. № 10. С. 90.
- ⁵³ Критику этого подхода см.: Дубровский Д. М. Проблема идеального. М., 1983. С. 211.
- ⁵⁴ Бахтин М. М. К философии поступка // Философия и социология науки и техники. Ежегодник. М., 1986. С. 86.
- ⁵⁵ Гельмгольц Г. Об академической свободе германских университетов. М., 1879. С. 20—21.
- ⁵⁶ Вавилов С. И. Собр. соч. Т. 3. М., 1956. С. 576.
- ⁵⁷ Витаньи И. Общество, культура, социология. М., 1984.
- ⁵⁸ Там же. С. 94.
- ⁵⁹ Парахонский Б. А. Язык культуры и генезис знания. Киев, 1988. С. 16.
- ⁶⁰ Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 1990. С. 48—49.
- ⁶¹ Тавризян Г. М. Наука и миф в морфологии культуры О. Шпенглера // Вопр. философии. 1984. № 8. С. 107.
- ⁶² Приводится по: Лосев А. Ф. Из книги «Теория стиля». Модернизм и современные ему течения // Контекст. М., 1990. С. 50—51.
- ⁶³ Там же. С. 51.
- ⁶⁴ См.: Торшилова Е. М. Можно ли поверить алгеброй гармонию? Критический очерк «экспериментальной эстетики». М., 1988.
- ⁶⁵ Приводится по: Бабушкин В. У. Феноменологическая философия науки. М., 1985. С. 15.
- ⁶⁶ Библер В. С. Мышление как творчество. М., 1975. С. 247—248.
- ⁶⁷ Вейль Г. Математическое мышление. М., 1989. С. 67.
- ⁶⁸ См.: Шафаревич И. Р. Основные понятия алгебры. М., 1986; Арнольд В. И. Математика с человеческим лицом // Природа. 1988. № 3.
- ⁶⁹ Мотрошилова Н. М. Анализ «предметностей» сознания в феноменологии Э. Гуссерля (на материале второго тома «Логических исследований») // Проблема сознания в современной западной философии. М., 1989. С. 70.
- ⁷⁰ Там же.

- ⁷¹ Foucault M. Qu'es-ce qu'n auteur? // Bulletin Francaise de philosophie. 1969. N 3.
- ⁷² Сент-Бев Ш. Литературные портреты: Критические очерки. М., 1970. С. 350.
- ⁷³ Лекторский В. А. Субъект, объект, познание. М., 1980. С. 278.
- ⁷⁴ Маркова Л. А. Наука история и историография XIX—XX вв. М., 1987. С. 245.
- ⁷⁵ Там же. С. 220.
- ⁷⁶ Пейперт С. Переворот в сознании: дети, компьютеры и плодотворные идеи. М., 1989. С. 8.
- ⁷⁷ Там же. С. 9—10.
- ⁷⁸ Курганов С. Ю. Ребенок и взрослый в учебном диалоге. М., 1989. С. 14.
- ⁷⁹ Там же. С. 113.
- ⁸⁰ Прошин А. В. Коммуникативный аспект стилистических явлений. Магнитогорск, 1988. Деп. ИНИОН. 36191. С. 2.
- ⁸¹ Колшанский Г. В. Соотношение субъективных и объективных факторов в языке. М., 1980. С. 84.
- ⁸² Степанов Г. В. Семиотика. М., 1971. С. 44.
- ⁸³ Харитонов А. Н. Переопосредствование как аспект понимания в диалоге // Познание и общение. М., 1988. С. 60—61.
- ⁸⁴ См.: Коул М., Гриффин П. Социально-исторический подход к переопосредованию // Познание и общение. М., 1988.

СТИЛЬ КАК КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ СУБЪЕКТА НАУКИ

§ 1. Стилъ как субъектно-индивидуальный способ бытия всеобщего

Всякая общезначимая ценность становится действительно значимой только в индивидуальном контексте.

М. М. Бахтин

Проблема индивидуальности в науке чаще всего принимала форму дилеммы, фиксирующей несовместимость научно-теоретического (универсального, всеобщего) и индивидуального (конкретного, уникального). Процесс мышления, отождествляемый с научно-теоретическими его формами, представлялся лишенным черт индивидуальности. Как существо мыслящее человек, считал Л. Фейербах, есть не индивидуальное, не личное, а всеобщее, родовое. Для познания объективного содержания вещей индивидуальность остается только субъективной формой. С теоретической точки зрения личность есть нечто побочное. «Перед лицом... науки на лица не взирают: ведь само мышление, на которое опирается наука, по своей природе есть **абсолютное безразличие** ко всякой индивидуальности; это безразличие стирает всякую разницу между личностями, лишает их реальности, ибо реальность личностей коренится в том, что они отличны друг от друга»¹. Отсюда, как из фокуса, расходились и постоянно воспроизводились проблемы соотношения теоретического и практического, теоретического и нравственного, теоретического и жизненно-исторического, теоретически-всеобщего и индивидуального и т. д.

Мир чистого, универсального, всеобщего знания оказывался, как это показал М. М. Бахтин, достоянием одного-единственного, монологичного сознания, безразлично, какую метафизическую форму оно могло принимать: сознания вообще, «абсолютного я», «абсолютного духа», «нормативного сознания». Рядом с этим единым и неизбежно одним сознанием оказывается множество эмпирических человеческих сознаний. Эта множественность сознаний с точки зрения «сознания вообще» случайна и, так сказать, излиш-

ня. Все, что существенно, что истинно в них, входит в единый контекст «сознания вообще» и лишено индивидуальности. То же, что индивидуально, что отличает одно сознание от другого и от других сознаний, познавательно несущественно и относится к области психической организации и ограниченности человеческой особи. С точки зрения истины нет индивидуальных сознаний. Единственный принцип познавательной индивидуализации, какой знает идеализм,— это ошибка. Всякое истинное суждение не закрепляется за личностью, а довлеет некоторому единому системно-многологическому контексту. Только ошибка индивидуализирует... В идеале одно сознание и одни уста совершенно достаточны для всей полноты познания; во множестве сознаний нет нужды и для нее нет основы².

Очевидно, что исключение индивидуальности, множественности других сознаний связано с вполне определенным образом научной деятельности и с определенной моделью сознания и познания. Это представление, согласно которому теоретическое существует и воспроизводится в рамках замкнутой, всюду однородной технологии, само через себя, не выходя за свои рамки (скажем, в сферу бытия). Это фактически модель самозамкнутого логического вывода как идеальной технологии познания. Всеобщее (теоретическое) и индивидуальное (личностное, конкретно-историческое) разорваны изначально, так как весь познавательный процесс рассматривается вне конкретно-исторических форм, в пустоте и бесцветии логического пространства. В абстрактном логическом пространстве оказывается излишним и стиль, так как для него, как и для индивидуального, не остается никакого основания в этом монологичном и однородном мире логического. Совершенно очевидно, что любые попытки преодолеть разрыв между теоретическим и индивидуально-многообразным обречены на неудачу в рамках самого логического мира. Поэтому, на наш взгляд, некорректны такие постановки этой проблемы, когда исходя из мира чисто теоретического пытаются объяснить необходимость индивидуального в науке. В самом абстрактно-теоретическом нельзя найти основания индивидуализации (как это пытался сделать Гуссерль в своем трансцендентальном анализе: из единого Я вывести множественность Я), так как сфера логического бытия теории — это одно из измерений какого-то более сложного процесса, и в этом измерении нет места индивидуальному.

Для решения проблемы нужно выйти в другой тип размерности, более высокий, чем размерность логического. Такой размерностью является историческая реальность. **«Вообще сознание,— подчеркивал К. Маркс,— есть лишь теоретическая форма того, живой формой чего является реальная коллективность, общественная сущность»³.**

В плане наполнения историческим измерением должны быть переосмыслены также понятия «всеобщего» и «индивидуального», логика соотношения которых часто еще носит черты типологического соотношения (индивидуальное — варианты всеобщего, случайные отклонения от типичного и т. д.).

Индивидуальное и всеобщее не могут быть непосредственно выведены одно из другого, их отношение исторически всегда опосредовано и разворачивается в конкретных формах исторической реальности. Такие опосредующие формы могут быть обозначены различно: «конкретная тотальность» (Г. Гегель), «живая всеобщность» (К. Маркс), «культурный топос» (А. В. Ахутин), «субкультура науки» (М. Малкей) и т. д.

Тотальность в отличие от всеобщего определялась уже Гегелем как «завершенная всеобщность», как «развертывающееся в самом себе и сохраняющее свое единство...» конкретное⁴. Понятие «всеобщее» неограниченно, внеисторично и в силу этого абстрактно. Понятие **«тотальность»** характеризует единство «всеобщего и целого» (завершенная всеобщность), где всеобщему придается историческая определенность целого, а целому — значимость, масштаб всеобщего. Если всеобщее не предполагает внутренней дифференциации, не содержит указания на внутренние отношения (всеобщее монологично, монолитно, однозначно, может иметь лишь внешние формы, отношения, проявления), то **тотальность** обладает внутренней саморазличенностью целого, единого, она внутренне подвижна, противоречива, она есть единство **многообразия**. И наконец, **тотальность** в отличие от всеобщего есть действительное начало развития. Всеобщее как понятие не различает абстрактных и конкретных возможностей, тотальность — это всеобщее как конкретное, действительное начало развития. «Конкретная тотальность, образующая начало, имеет, как таковая, в самой себе начало дальнейшего движения и развития»⁵. Понятие конкретной тотальности лучше заменить термином **«культурный топос»**, чтобы не было смешения с представлениями, абсолютизирующими тотальность.

Связь индивидуального и всеобщего не может быть изначально непосредственной, осуществляющейся помимо включения в определенный культурный топос. Согласно И. В. Ватину, «особенность человека состоит в том, что он не только воплощает в себе всеобщее через подчинение ему, определение круга своего движения, и т. д., но сам непосредственно есть всеобщее. Человек не только индивидуализирует всеобщее, к которому принадлежит, но есть индивидуально всеобщее»⁶. Понимание человека как «индивидуально всеобщего» тоже может оказаться весьма абстрактным, так как не содержит указаний на конкретно-историческую определенность всеобщего, а также не раскрывает способов бытия

индивидуального, его становления как всеобщего в рамках определенного топоса. Связь между индивидуальным и всеобщим остается связью по типу абстрактно-логического тождества, оказывается ничем не опосредованной, а, следовательно, внутренне неподвижной, «немой общностью».

Мера индивидуального, а также мера всеобщего в нем может быть определена лишь по отношению к конкретному топосу, лишь через определение места индивидуальности, ее способа бытия в этом топосе. При этом важно не только то, насколько всеобщее воплотилось в индивидуальном, а то, насколько индивидуальность заявляет о себе в рамках конкретно-тотального.

В марксистской литературе последних лет обращается серьезное внимание на необходимость изучения индивидуального в конкретной деятельности, в системе общественных отношений. В этом случае индивидуальность определяется не просто отнесенностью к всеобщему (как к историко-генетическому архетипу, традиции или как овеществленной в результатах труда норме), но отнесенностью к конкретной тотальности, топосу как действительной, актуальной деятельностной взаимосвязи конкретных индивидуальностей.

Само всеобщее в рамках конкретной тотальности осуществляет себя главным образом через доминирующую часть, некоторое конкретное основание целого, «особенное всеобщее». В рамках топоса индивидуальное предстает как многообразие различных индивидуальных целостностей. «...Сама действительность многоголоса, разные люди и группы людей хотят сказать вслух о своих интересах, не всегда совпадающих, и надо всем дать слово, чтобы выяснить, чей же голос сильнее и чище, кого можно сделать солистом, не подавляющим другие голоса, а задающим тон всему хору»⁷.

Мера явленности индивидуального определяется в конкретной деятельности. Место индивидуального в топосе определяется не изначально и однозначно, но становится, изменяется в деятельности, в практике. Индивидуальное может как носить случайный характер, так и приобретать доминантное значение, быть репрезентантом тотальности в целом.

Стиль как раз и характеризует индивидуальный способ бытия всеобщего в рамках конкретной тотальности (топоса). Поэтому не случайно, что это понятие не использовалось для характеристики деятельности, когда индивидуальность определялась не ее свободной деятельностью в рамках общества, но всецело предопределялась прошлым овеществленным трудом или традицией. Когда же индивидуальность раскрывается в полной мере как социально-историческая индивидуальность, то в теоретическом анализе открывается целая палитра социально-бытийственных характеристик

индивидуального. Например, К. А. Абульханова-Славская характеризует индивидуальный способ бытия индивида в следующих определениях: «индивидуальный способ общественной активности», «индивидуальный уровень общественного бытия», «особенные формы деятельности», «индивидуальный способ осуществления общественной деятельности», «конкретно-исторический способ организации жизнедеятельности», «способ организации жизнедеятельности», «конкретно-исторический способ организации субъекта», «разные способы включения личности в деятельность», «способ реализации основных жизненных отношений» и т. д.⁸

Однако нельзя согласиться с отнесением К. А. Абульхановой-Славской понятия индивидуального только к индивиду. Индивидуальное характеризует все уровни социального субъекта (индивид, группа, общество, эпоха) при условии их включения в конкретный топос. Понятие «стиль деятельности», включая в себя конкретные формы определенности бытия индивидуального в их многообразии, характеризует все же не любую форму индивидуального. А. Я. Голубчиков справедливо указывает на то, что сама индивидуальность постоянно находится в развитии, проходит различные этапы и стадии. «В процессе саморазвития человеческая индивидуальность проходит три этапа: возникновение системы, развитие системы на собственной основе и, наконец, превращение системы в целостность»⁹. Стиль характеризует индивидуальность в высшей стадии ее развития: на ее выходе (активном, деятельном) вовне, в ее явленности в рамках конкретного общественного целого. «Стиль жизни является такой научной категорией, которая фиксирует не единственный, случайной проявившийся способ или форму жизнедеятельности, а отражает устойчивое, повторяющееся в способе жизнедеятельности личности на протяжении длительного отрезка времени. Какими бы сильными, значительными, особенными ни были временные проявления личности, все же не они характеризуют ее стиль жизни. Последний отражает инвариантные, устойчивые способы поведения, постоянную манеру вести себя, особый поведенческий «почерк» личности»¹⁰.

Концепция, непосредственно сводящая индивидуальное к всеобщему (социальному) и непосредственно выводящая индивидуальное из всеобщего, ограничена и в том смысле, что не включает в свое логическое пространство историческую многослойность, неоднородность, подвижность социального, а следовательно, и то индивидуальное, которое может быть воплощением не актуально-всеобщего, но потенциально-всеобщего, такого всеобщего, которое станет действительно всеобщим лишь в будущем, а в наличной действительности выступает случайным. В этом смысле индивидуальное может оказаться выше действительно всеобщего. Но именно в этом смысле индивидуальное и раскрывается в его подлинно

историческом значении, именно здесь оно и предстает как мера соотношения различных типов социального: «социального как наличного» и «социального как выходящего за рамки наличного», как социокультурно значимого, будущего всеобщего. Именно в этом отношении стиль является формой движения социального через индивидуальное, мерой собственно человеческого, социокультурного, поднимающегося над наличным бытием социального.

Конструктивно-творческая функция стиля не сводима к обнаружению всеобщего надличностного канона, но заключается в постоянной работе по поиску меры сопряженности в конкретном субъекте нормативного и вариативного, исторически-субстанционального и личностно-своеобразного. Стиль — это способ отыскания, открытия субъектом самого себя в этом нескончаемом историческом «кортеже» лиц, деяний, достижений, судеб, и без этого индивидуального самоопределения, открытия своего собственного лица, своей самобытности творчество невозможно. Конструктивно-стилевые открытия, конечно, закрепляются затем в стилиевых нормах. Однако как творческое открытие без опоры на норму, историческую традицию безответственно, так и норма без исходного и повторяющегося открытия субъектом себя вырождается в стереотипы, в стилизацию и в конечном итоге выходит за границы живого стиля. Сущностная природа стиля заключается, на наш взгляд, именно в креативности, хотя соотношение продуктивного и репродуктивного в стиле в различных отрезках его исторической жизни может быть своеобразным.

Научную деятельность также нельзя свести только к сфере чистых теоретических форм. В реальном историческом движении науки «чисто теоретические формы» вплетены в живую и многоцветную ткань знания, приобретают различные модификации, формы означивания и представленности. В реальной практике теоретическое знание, включенное в различные культурные формы, всегда существует как свое знание (знание присвоенное), а не как ничейное, безличностное и безликое. Оно приобретает многокрасочные живые субъектно-стилевые модификации, связанные с живой жизнью индивидуального. «Должно отметить,— писал М. М. Бахтин,— что из самого понятия единой истины вовсе еще не вытекает необходимости одного и единого сознания. Вполне возможно допустить и помыслить, что единая истина требует множественности сознаний, что она принципиально неместима в пределы одного сознания, что она, так сказать, по природе событийна и рождается в точке соприкосновения разных сознаний. Все зависит от того, как помыслить себе истину и ее отношение к сознанию»¹¹.

Роль стилевой среды науки, укорененной в культурно-истори-

ческой явленности индивидуального, можно сравнить с той ролью, какую К. Юнг отводил сфере символического в истории культуры. Символическое понималось Юнгом как буфер между сознательным и бессознательным. Деформация, редукция символического слоя неизбежно приводит к «затоплению» сферы сознательного бессознательным. Символическое — это как бы метки духовного, сознательного, удерживающие его от скатывания в бессознательное. Аналогично стиливая сфера науки — это то многообразие форм, которые удерживают связь между теоретически-всеобщим и индивидуально-конкретным. Выхолащивание, обеднение или неучет этой тонкой сферы в научной культуре приводит к распаду теоретического и индивидуального, к превращению их в самозамкнутые, лишённые живого движения и смысла сферы. Бахтин показал, как отрыв теоретического от индивидуально-ответственного поступка, от участного сознания превращает теоретическое из логически осознанного в логически бессознательное, темное и безответственное сознание¹².

Следовательно, суть проблемы заключается не в том, чтобы исключить «чисто» теоретические формы из сферы науки как нечто реально не имеющее места, как абстракцию, порожденную определенным образом науки. Чисто теоретические формы — это действительно вершина, итог развития научного познания. Но дело заключается в том, чтобы понять их место в реальном пространстве науки, способы бытия чисто теоретического знания, наконец, понять теоретическое как одну из многообразных форм самого научного знания.

Классическая гносеология интересовалась только одной стороной проблемы: как из мира мнений, вариативности знания рождается особый тип знания, не зависящий от разброса и многообразия мнений, но соответствующий только объекту. На этом пути фактически были исследованы сложные структуры работы сознания, способы вынесения субъективного за скобки (Гегель, Гуссерль и др.). Это, так сказать, различные способы «преобразования» субъекта и его сознания, лишь после которого оказывалось возможным научное объективное познание (очищение сознания и опыта от идолов, редукция естественной установки, становление логического субъекта и т. д.). Однако после того, как такие процедуры были обнаружены, они приводились к общему знаменателю и далее внимание концентрировалось уже только на работе чистых (очищенных, преобразенных) механизмов сознания. Упущалось из виду, что эти пути преобразования субъекта каждый раз индивидуальны (несмотря на то, что в них можно выявить и сходное), осуществляются в реальном историческом контексте, наполняются различным содержанием (например, под идолами сознания и естественными установками подразумевались в разные эпохи

различные идеи, традиции, различные исторические реалии).

Однако помимо восхождения, преобразования субъекта (как вхождения его в особую технологию деятельности) всегда существовали и процедуры «воплощения» полученных результатов деятельности в живую историческую реальность, опять же через процедуры (настроенные конкретно-индивидуально) «перевоплощения», трансформации самого субъекта. Последнее оказывалось возможным, если субъект (как включенный в технологию) не был полностью редуцированным к технологически-необходимым формам проявления, но сохранял свою жизненную многовариантность, избыточность, сохранял способность к живому диалогу.

Проблемы замкнутого теоретизма, человеческой отчужденности науки, обезличенности знаний возникают, на наш взгляд, не в силу ущербности самой по себе теоретической позиции, фантазмагорической власти теоретического над миром культуры. И то и другое может возникнуть в силу разрушения живого культурного слоя науки, слоя стилистических структур, стилевой активности субъекта, благодаря чему теоретическое без деформаций входит в культуру. Нарастание так называемых безличностных форм знания — это уже результат распада культурного слоя самой науки, а не следствие теоретического знания как такового.

Сейчас активно обсуждается другая проблема, а именно необходимость смены формы теоретического. Новая форма теоретического, как предполагается, изначально будет включать не только абстрактно-всеобщее, но и конкретно-индивидуальное. Трансформации самого теоретического знания, идеала теоретичности постоянно происходили в истории науки. Более того, задержка исторически назревшей смены форм теоретического, если она происходила, вызывала нарастание негативистских оценок теоретического познания как такового. Можно предположить, что сейчас мы находимся именно на таком этапе развития науки. Однако нельзя забывать, что застойные процессы в развитии науки порождались опять же ущемлением, сужением социального пространства для развития научной культуры.

Стилевые структуры науки часто кажутся неуволними, так как они не объективируются непосредственно в социальных формах организации науки, в научных технологиях, не совпадают с административными структурами науки, но могут даже существовать как бы вопреки последним, соединяясь со свободным пространством развития индивидов, сообществ как культурно-коммуникативных, духовно-практических общностей. Поэтому ограничение (любыми методами) сверхнормативных, сверхтехнологичных, вариативных структур науки, редукция избыточных пространств возможной реализации субъектов и их общностей ведет к сворачиванию ее культурного пространства и к застою в науке.

§ 2. Стилъ как культурно-историческая мера избыточности и определенности деятельности субъекта

...Все совершенное в своем роде должно выйти за пределы своего рода.

И. В. Гете

Включение человека в деятельность, в отношения с другим человеком предполагает определенную изначальную **избыточность**, предпосылочность субъекта. Сама возможность отношения к другому человеку, его социальная наполненность определяются богатством индивидуальностей, вступающих в отношения. Еще Б. Паскаль писал, что «чем больше умнеешь, тем больше находишь оригинальных людей. Человек заурядный не замечает различия в людях». Абсолютное уравнивание людей, нивелировка их индивидуальности приводит к деградации человека, к разрушению социальных связей, их вырождению. По свидетельству узников немецких концлагерей, в годы второй мировой войны одним из методов подавления была сознательно проводившаяся нивелировка людей (одинаковая одежда, лишение имени, одна и та же деятельность, казарменные условия существования, запрещение любых индивидуальных видов деятельности и т. д.). Общество, не создающее условий для воспроизводства (причем расширенного) индивидуальности, обречено на вырождение. Избыточность как необходимость человеческой индивидуальности к технологически необходимому, всеобщему виду деятельности, к традиционным структурам жизнедеятельности является условием возможности осуществления любой деятельности. Нужно согласиться с К. А. Абульхановой-Славской в том, что «анализ деятельности методологически ошибочно начинать с нее самой...»¹³. Наличие исходных предпосылок является необходимым условием деятельности, причем предпосылок, не только как внутренние необходимых для деятельности, но и избыточных для нее в данный момент, в данных общественных условиях. Общественно необходимая технология деятельности выделяет и воспроизводит в субъекте свои необходимые предпосылки, однако если бы в субъекте не воспроизводилось всегда и нечто избыточное, то развитие самой общественной технологии, очевидно, прекратилось бы.

«...Если человек есть некоторый **особенный** индивид., то он в такой же мере есть также и **тотальность**, идеальная тотальность, субъективное для-себя-бытие мыслимого и ощущаемого общества, подобно тому как и в действительности он существует, с одной стороны, как созерцание общественного бытия и действительное пользование им, а с другой стороны — как тотальность челове-

ского проявления жизни»¹⁴. Эти слова К. Маркса можно отнести к характеристике избыточности конкретного человека. У К. Маркса есть понятия социального богатства как не сводимого ни к духовному, ни к вещному. Это предметное богатство как непосредственное воплощение личности, индивидуальности, богатство, неотделимое от самого индивида. «На самом же деле,— писал К. Маркс,— если сбросить ограниченную буржуазную форму, чем же иным является богатство, как ни универсальностью потребностей, способностей, средств потребления, производительных сил и т. п. индивидов, созданной универсальным обменом?»¹⁵ К. Маркс писал фактически о новом типе социальной предметности, как предметном непосредственно чувственно-созерцаемом бытии личности, индивидуальности, бытии ее для другого человека. «Я в моем производстве опредмечивал бы мою **индивидуальность**, ее своеобразие... а в созерцании от произведенного предмета испытывал бы индивидуальную радость от сознания того, что **моя личность выступает как предметная чувственно-созерцаемая** (подчеркнуто нами.— Л. А.) и потому находящаяся вне всяких сомнений сила»¹⁶. В этих условиях **избыточность**, предпосылочность деятельности всецело предстает как **своеобразие одной личности** (предстающей предметно) **по отношению к другой личности**. Полная предметная развернутость личности исключает саму возможность социального закрепления, абсолютизации одномерности, сведения социальных отношений только к технологической (прагматической) составляющей, а следовательно, человек предстает перед другим человеком прежде всего со стороны своего **стиля как меры своеобразия**. Через человека и в человеке как социальной предметности непосредственно проходят и сходятся все основные предпосылки деятельности. Социальные отношения получают предметное закрепление в такой специфической предметности, как предметное воплощение человеческой индивидуальности. «Я (т. е. сам человек, а не вещь.— Л. А.) был бы для тебя **посредником** между тобой и родом и сознавался и воспринимался бы тобою как дополнение твоей собственной сущности...»¹⁷ Такой тип отношений, конечно, в полной мере осуществим только в будущем. Но на этом основании нельзя отказываться вообще от анализа такой формы социального богатства, как социальная предметность индивидуальности, личности.

Различные по полноте и содержанию формы социально-предметной реализации индивидуальности присущи самым различным общественно-экономическим формациям. Конечно, социально-предметная реализация индивидуальности, ее развернутость, была, как правило, ограничена наличными формами социальной предметности и формой социальных отношений. Ограниченной она оказывалась уже в том смысле, что не было возможности предметно-раз-

вернутого бытия каждого, любого индивида. Невозможность выразить себя, невостребованность обществом, эпохой Гегель называл состоянием «человека, загнанного своим временем во внутренний мир». Такое состояние может быть либо (если он хочет сохранить свое пребывание во внутреннем мире) вечной смертью, либо (если его существо вынуждает его к жизни) лишь стремлением снять негативность существующего мира, для того чтобы найти себя в нем и наслаждаться своим существованием, чтобы жить»¹⁸.

По мере развития социальности появляются все новые средства воплощения личного богатства. Так, производство вещей стало средством предметного воплощения прежде всего физических навыков и способностей, способности подчинять себе естественные силы природы. Это было огромным шагом вперед в выражении индивидуальности по сравнению с непосредственным использованием для этой цели природных предметов, так как индивидуальные смыслы могли быть закреплены в последних только в символически ритуальной форме (ритуальное использование природных предметов как тотемов, символов и т. д.). Появление письменности создает возможность опредмечивания индивидуальности как духовности. Производство вещей как товаров является опредмечиванием способности к объединенному, совместному труду. Возникновение аудиовизуальных средств в нашу эпоху (радио, телефон, телевидение, кино) максимально (до масштабов всего человечества) расширяет возможности (масштаб) человеческого общения, а главное, опредмечивает аудиовизуальный образ человека. Каждая из форм предметности увеличивала одновременно и количество каналов непосредственной представимости (предметной) одного человека другому человеку.

В рамки одной человеческой судьбы стали вмещаться как непосредственно, чувственно переживаемые судьбы многих и многих конкретных людей, превращая личность в конкретную тотальность живых диалогов. Примечательна в этом отношении книга Б. Г. Кузнецова «Встречи». Эта небольшая книга — яркое свидетельство того, что индивидуальность измеряется не столько вещным богатством, сколько масштабом личностной вместимости, наполненности личной судьбы взаимоотношениями, живыми диалогами с другими судьбами, с другими индивидуальностями. «Каждый человек сохраняет в своей душе некий личный пантеон — воспоминания о людях, встречи с которыми сделали его человеком в смысле «феномена человека»¹⁹. «...Живое общение, встречи, беседы, споры, близкое личное знакомство дают такой импульс научной интуиции, какого не дают книги»²⁰.

Избыточность раскрывается как индивидуальное свособразие, социально-предметная развернутость личности (общества, эпохи), как «не-алиби-в-бытии» (М. М. Бахтин), прежде всего по отноше-

нию, а точнее сказать, в отношении, к другой личности, обществу, эпохе. Основным, стягивающим на себя все формы социальной предметности выступает уже не столько отношение «человек — технология деятельности», но отношение «человек — человек» (общество — общество, эпоха — эпоха и т. д.). Именно избыточность в этом отношении является непосредственным основанием стиля. «Единственный (у Штирнера.— Л. А.) лишен индивидуальности, подобно точке в нуль-мерном пространстве. «Интенсивность индивидуальности» точки — это размерность пространства, так же как интенсивность индивидуальности человека — это размерность, сложность, «негэнтропия мира, который противостоит человеку как объект познания и преобразования и ведет с ним диалог...»²¹ Нужно добавить, что интенсивность индивидуальности — это размерность человеческого мира. А стиль есть мера явленности этой интенсивности в человеческом пространстве и времени.

Конкретно-историческая ограниченность предметных и наличных социальных форм выражения индивидуальности всегда приводила к порождению своего рода компенсаторной формы — квазипредметности, условной, символической предметности. Основные формы квазипредметности как бы конденсировались вокруг основных форм доминирующей предметности, коррелировались с ними. Это тотемизм (коррелировался с природной предметностью), фетишизм (с вещной, товарной предметностью), театральность (с человеческой предметностью). Квазипредметность (особенно тотемизм и фетишизм) рассматривалась преимущественно как отрицательный феномен, но в основании этих форм квазипредметности и в исторически начальных формах их функционирования всегда можно обнаружить социальные механизмы и потребности опредмечивания (хотя и иллюзорного, условного) индивидуальности. Человек воспринимает другого человека не как одномерную, однозначную точку, но как точку пересечения многих отношений, многих восприятий другими, точку пересечения действительного и ожидаемого, действительного и желаемого. Квазипредметность всегда имела компенсаторную функцию. Кроме того, положительная функция квазипредметности, как бы наслаиваемой на самого реального человека (это очевидно в театральной форме: артист как носитель различных образов), заключается также в том, что это один из механизмов социального конструирования идеала человеческой индивидуальности. Особенно явно эта функция предстает в театральной квазипредметности. Но социальные отношения порождают не только типичные, но самые различные (подчас подобные театральным) формы квазипредметности в самой действительной жизни.

Таким особым типом квазипредметности в античности был образец калокагатийного человека, калокагатийной деятельности.

Калокагатия не есть добродетель или красота или мудрость сами по себе, но их особый сплав, единство, представленное в жизни, в поступках, в самом человеке. Калокагатия — это не просто идея совершенства и не только норма или отвлеченный мыслимый идеал, но именно особая предметность. «...Калокагатия,— пишет А. Ф. Лосев,— мыслится им (Ксенофонтом.— Л. А.) как нечто видимое, убедительное, **демонстративное, понятное субъекту**... калокагатия есть внешнее выражение добродетели»²². «Калокагатия рассматривается у Ксенофонта как нечто выразительно данное, причем эта выразительность доведена до степени персонификации»²³. Калокагатийный образец всегда персонифицирован и индивидуализирован. А. Ф. Лосев отмечает многообразие типов калокагатии: «Решительно каждое сословие, каждый общественный класс в Греции обладал своей собственной калокагатией»²⁴. Примечательно, что у каждого сословия, класса выдвигались различные стороны калокагатийного образца в зависимости от его места в исторически-поступательном движении общества. В старинно-аристократическом типе калокагатии (исторически уходящих слоев) образец человека отождествлялся с почтенным предком, представителем аристократического и даже греческого, старинного рода, «благородный, величавый образ когда-то бывшего сословного великолепия». Наиболее типичный для Греции общественно-демонстративный тип калокагатии, носителем которого были передовые, свободные слои общественности, отождествлял калокагатию с идеалом героя, победителя игр и состязаний. Рабовладельческо-мещанский тип калокагатии характеризовался закреплением образца идеального хозяина; в интеллигентском и философском типе калокагатии наибольшее выражение получили идеи гармонического единства личности. Кроме того, калокагатийные образцы этого типа предстают в наиболее индивидуализированной форме. Чаще всего это был образ Сократа. «...Соприкосновение с ним,— как писал Ксенофонт,— порождало эту калокагатию в других»²⁵. «Он (Сократ.— Л. А.) никогда не брался быть учителем добродетели, но так как все видели, что он таков, то это давало надежду людям, находившимся в общении с ним, что они, подражая ему, станут такими»²⁶. В этом фрагменте из Ксенофонта еще раз подтверждается то, что калокагатийный образец предметов, демонстративен, чувственно-воспринимаем, представлен как индивидуальность, как объективное «не-алиби-в-бытии» Сократа. Это особая, выраженная вовне, для других, представленная для других и через других предметность, возникающая только в конкретных отношениях. Однако не менее существенным свойством калокагатийности является наличие элементов идеального, но не в виде отвлеченной идеи. Это как бы воплощенное идеальное, идеальное не в его абсолютном, но относительном смысле. Оно идеально (как

еще не достигнутое), как идеал для одних (как правило для большинства), но оно уже не идеально для других, так как уже воплощено в уникальности, единственности конкретного предметного бытия. Калокагатия «всегда является процессом стихийно-физическим и стихийно-жизненным, но именно то обстоятельство, что данное жизненное явление существует само по себе как самоцель, что оно не только реально, но и идеально, это-то и превращает ее из явления чисто жизненного в «добро», «добродетель», в калокагатию»²⁷.

Стиль формируется через социальное конструирование субъектного образца, в котором соединяются все стороны и аспекты деятельности. Важно оттенить, что специфика стиля задается **субъектно-индивидуализированными** (не обязательно в личностной форме, но также индивидуализированным может быть «лицо» общества, эпохи и т.д.) **образцами, представленными во внешних демонстративных формах** в социальных отношениях между людьми. Без стиля невозможна историческая укорененность субъекта в социальном бытии, в социальных отношениях к другим. «...Стиль придает единство трансградиентной внешности мира, его отражению вовне, обращенности вовне, его границам (обработка и сочетание границ)»²⁸.

В межсубъектных отношениях (и в этом их отличие от межобъектных) велика роль не только вечно, объектно представленного, но и представленного как идеальное (не абсолютное, а относительное). Без обращения к понятию идеального невозможно теоретически раскрыть формообразование индивидуальных субъектных образов, их функционирование в обществе. Без идеального, представленного в различных формах (как вечно, знаковое, квазипредметное, субъективное и т.д.) нельзя раскрыть всю палитру индивидуальных измерений социального. Это отнюдь не возвращает нас к идеализму в понимании социальных отношений, так как постичь идеальное (как иное, вне-меня сущее) мы можем только в опредмеченных, опосредованных, обективированных формах. Однако до сих пор бытие идеального в социальных отношениях понималось несколько упрощенно, как абсолютная реализация некоего абсолютного идеального в наличной действительности, как в чем-то ставшем, осуществившемся, реализовавшем себя только во всеобщих и необходимых формах. Но идеальное может быть идеальным разных степеней идеальности, более или менее развитым идеальным, абсолютным и относительным, единичным и всеобщим и т.д. Оно может быть воплощено в становящейся текучей, неустойчивой предметности (не случайно история философии знает примеры отождествления идеального с длительностью, быванием и т.д.), в квазипредметности (предметно для одних, непредметно для других), в возможностях, тенденциях са-

мой наличной действительности или в искусственно воскрешаемых материальных формах действительного, образах и событиях далекого прошлого; идеальное может, наконец, присутствовать как виртуальный момент, виртуальное качество элемента, как эффект системности и т. д. В этом отношении представляется значительным шагом вперед концепция идеального как свободной информации²⁹ виртуального свойства³⁰ и как положенного и представленного³¹ и др.

Идеальное — это эффект и результат, живой огонь именно человеческих, межсубъектных отношений, он живет только в них и через них.

К. Маркс показывает, как в социальном мире все налично существующее, чувственно воспринимаемое, оставаясь самим собой, становится еще и иным, получает свое «сверхчувственное» бытие. Маркс приходит к выводу, что «сверхчувственные свойства являются формой, порождением общественных отношений, их инобытием, т. е. являются социальными». Нужно согласиться с Э. Г. Класеном, который пишет, что «исследование природы «сверхчувственного» приводит К. Маркса к выявлению природы и структуры идеального. Он не подходит к нему как чему-то изначально существующему в реальности или возникающему вдруг, сразу в завершенной форме. Идеальное для него «становящийся результат»³². Сама мера чувственного и сверхчувственного, предметного и квазипредметного, материального и идеального в социально функционирующих образцах может быть различной. Но момент идеального как необходимое условие его конструктивности, проективности образца, его функционирования как идеала должен сохраняться. Нужно, однако, помнить, что образцы как квазипредметность всегда соединяют вещное (или функциональное) социальное с представленностью в нем индивидуализированных образцов социальных целостностей (индивидуум, группа, общество, эпоха и т. д.). Вместе с тем абсолютный отрыв от материальной основы, так же как и от воплощаемого, представляемого реального прообраза индивидуальности также социально опасен. Такой отрыв характерен, например, для такого явления современной культуры, как имиджи. Имидж, по мнению О. Феофанова, это «образ-представление, методом ассоциаций наделяющий объект дополнительными ценностями (социальными, психологическими, эстетическими и т. д.), не имеющими основания в реальных свойствах самого объекта, но обладающими социальной значимостью для воспринимающего такой образ». Имидж «блокирует рациональное познание объекта и в то же время своим внушаемым воздействием создает специфическую социально-психологическую установку действия»³³. Первоначально многие имиджи возникают стихийно как результат идеализации в самой жизни отдельных личностей, вещей, сил природы

и т. д., но сегодня они все более целенаправленно используются правящими кругами в своих интересах. «Имиджи» являются во многом искусственно созданными и навязываемыми образцами социальной ценности той или иной предметности. Однако нельзя отрицать стоящую за ними объективно существующую социальную потребность сделать представленными для людей формы, закрепляющие освоенность ими тех или иных предметов (особенно новых), тех или иных черт личности, социальной целостности. Неучет этих собственно стилевых процессов, важности демонстрации социально-предметной представленности новых предметностей, входящих в мир человека, чреват, например, тем, что стихийно могут закрепиться далеко не самые лучшие образцы. Это важно в любом виде деятельности: в научном творчестве, в педагогическом труде, в пропаганде, в идеологической работе и т. д.

Идея избыточности как предпосылочности деятельности активно разрабатывается в последнее время применительно к познанию, в том числе научному. Р. И. Кругликовым идея избыточности отражения сформулирована следующим образом: «Успешное приспособление к... вероятной, но принципиально в деталях непредсказуемой ситуации может быть обеспечено одним-единственным путем — выработкой на основе прошлого и настоящего таких программ предстоящего поведения, которые носят заведомо избыточный характер... Избыточность таких программ и обеспечивает возможность построения активного поведения в новой, отличной от прежних ситуаций»³⁴. «Перед лицом неизвестного будущего основным условием успешного приспособления является предшествующее многообразие»³⁵.

Идея избыточности представляется действительно фундаментальной. Наличие избыточных, предпосылочных структур деятельности является, очевидно, общим признаком человеческой деятельности в любую эпоху, однако осознанная рефлексия над предпосылочными структурами характерна уже для развитых форм деятельности. Уже в древних обществах ритуализированное поведение было невозможным без исходной избыточности значений входящих в ритуал символов и содержательных компонентов ритуала. Без этой многозначности символов ритуал оказался бы невоспроизводимым, так как был бы применим лишь к одной-единственной ситуации. Более того, многозначность исходной символики делала возможной индивидуализацию переживания ритуального действия. Очевидно, распространенное мнение об отсутствии в древних обществах индивидуальности нуждается сегодня в корректировке.

«Ритуальный символ,— пишет В. Тэрнэр,— это мельчайшая единица ритуала, сохраняющая специфические особенности ритуального поведения... элементарная единица специфической струк-

туры в ритуальном контексте. Это структура семантическая (т. е. она вовлечена в отношения знаков и символов с вещами, к которым они относятся) и обладает следующими признаками: 1) множество значений (*significata*)... 2) объединение диспаратных *significata* — различные по существу *significata* взаимосвязываются посредством аналогии или ассоциации в действительности или в воображении; 3) конденсация — множество идей, отношений между вещами, действий, взаимодействий и сделок представляются одновременно символическими средствами (ритуальное использование этих средств сокращает то, что в словесном выражении было бы длинным рассказом или высказыванием; 4) поляризация *significata* — референты, предназначенные обычаем для основного ритуального символа, часто стремятся сгруппироваться на противоположных семантических полюсах»³⁶.

В работах А. Ф. Лосева развито представление о символе как функции исторической реальности. Через символ и в символе историческая реальность, само становящееся бытие как бы сохраняется, потенцирует свою избыточность как код, как порождающую модель бесконечного многообразия смыслов. Символичность открывает новые (избыточные), как бы функционально-виртуальные, пульсирующие слои реальности в ее становлении³⁷. «Символизм, — по образному выражению М. М. Пришвина, — встреча текущего мгновения с вечностью, а место встречи — личность»³⁸.

Символически избыточные элементы деятельности первоначально непосредственно вплетены в ритуал, но по мере развития общества приобретают более развернутое выражение. Выделяются мифология и технология, рациональное мировоззрение и опыт, и наконец, в самой науке: научная картина мира, культурный слой науки и научная теория. Основной признак научной картины мира как раз и составляет ее избыточность по сравнению прежде всего с наличным теоретическим знанием. Избыточность НКМ³⁹ может быть раскрыта в нескольких аспектах:

- в образно-понятийном: образы и понятия НКМ обладают большей амплитудой значений и смыслов, чем понятия и термины теории, и в этом смысле они не только предметны, но и символичны;

- в знаковом, языковом аспекте: НКМ содержит не только строго однозначные термины, но и многозначные метафорические языковые компоненты;

- в функциональном: наряду с общей НКМ как результатом философско-теоретической рефлексии, НКМ функционирует в многообразных индивидуализированных субъектных формах;

- по источнику формирования: источником формирования НКМ является не только внутринаучная деятельность, но весь контекст культуры;

— по прогностическим возможностям: если теория является основанием выдвижения гипотез, то НКМ является основанием гипотетического знания как знания осознаваемого, рационального и вместе с тем служит базисом, полем творческой интуиции.

Избыточность НКМ не ограничивается только ее когнитивными структурами, ее специфической логикой движения по объекту. В НКМ происходит как бы сопоставление двух рядов «кинолент»: движения по логике объекта и движения по логике субъекта. НКМ включает как свое основание также и картину мира человека как индивидуализированного социума. «Объективность такой картины, стало быть, исключает не позицию субъекта, но абсолютизацию этой позиции, соответствующих схем и представлений»⁴⁰.

И по формам объективации НКМ не может быть достаточно полно представлена только в вещных и знаковых формах объективации, но требует более сложных культурно-значимых образований. Она может быть объективирована в различных формах квазипредметности, в «объективированных мыслительных формах», в том, что можно называть социально-предметным бытием определенной научной позиции, слитой с поступком личности, с ее образом жизни и творчества. Так, картина множественности обитаемых миров, идеи гелиоцентризма неразрывно связаны с подвижничеством Дж. Бруно, Галилея, Коперника, как бы сплавлены с их образом жизни, персонафицированы в нем. Механическая картина мира И. Ньютона нашла свое объективное и, пожалуй, еще более механическое выражение не только в теории Ньютона, но и в объективных формах организации производства в период раннего капитализма (производство как единый механизм, система машин, где человек только винтик, придаток). Следовательно, НКМ обладает аспектом избыточности не только по отношению к теоретическому знанию об объекте (и субъекте) в его наличных формах, но она избыточна как форма репрезентации одного субъекта другому, как основание специфического стиля мышления и действия субъекта (личности, общества, эпохи).

Избыточность — это не только культурно-осуществленная многомерность (самого человека, его деятельности, мышления, его среды и т. д.), но и выход в многомерность времени. Это выход из безразличия, «равнодушия» мертвой функциональной вечности времени (что равносильно безвременью) в историю, во время как способ исторического «укоренения» конкретного человека. Время как одна из координат некоторой движущейся точки и время как величина и мера человеческого осуществления жизни — это не одно и то же. Для разных людей, обществ, топосов социальной жизни, для разных эпох одни и те же временные интервалы оказываются различно наполненными в зависимости от типа их куль-

турной избыточности, многомерности. Не случайно, видимо, есть традиция связывать стиль с ситуацией временного сдвига, отклонения, внетехнологичности, с образом разомкнутости бытия и т. д. В. Б. Шкловский понимал стиль как способ выхода из автоматизма бессознательной жизни. Автоматизм привычки, автоматизм мышления и восприятия приводит к тому, что «вещь проходит мимо нас (и человек тоже.— Л. А.) как бы запакованной, мы знаем, что она есть по месту, которое она занимает, но видим только ее поверхность. Под влиянием такого восприятия вещь сохнет... Автоматизация съедает вещи, платье, мебель, жену и страх войны. Так пропадает, в ничто вменяясь, жизнь»⁴¹. Человек очень легко соскальзывает в безвременье. Задерживает его в конкретном времени, придает конкретное лицо только то, что вырывает его восприятие, его деятельность, его самого из автоматизма бессознательного. Для В. Б. Шкловского — это искусство, а в искусстве — стиль с его многообразными приемами остранения, выделения, «растягивания» времени, перенесения в новое видение, собственно открытие видения, которое не подобно автоматизму узнавания и т. д.

У специалистов по языковой стилистике представление о стиле как языковом отклонении получило широкое распространение. «Среди эквивалентов термина «отклонение» мы находим у разных авторов **злоупотребление** (abus — П. Валери), **насилие над языком** (viol — Ж. Кюен), **бесчинство** (scandale — Р. Барт), **аномалия** (anomalie — Ц. Тодоров), **безумие** (folie — Л. Арагон), **уклонение** (deviation — Л. Шпицер), **разрушение** (subversion — Ж. Петар), **взлом** (infraction — М. Тири) и т. д., причем чаще всего авторы употребляют эти слова, не придавая им точного терминологического значения»⁴².

Тодоров настаивал на том, что «стилистические эффекты существуют лишь постольку, поскольку они противопоставлены норме, принятому употреблению»⁴³. Другие авторы считают, что не одно отклонение, а «именно отношение норма / отклонение... является главным для понятия стиля»⁴⁴.

При всей дискуссионности вопроса очевидно, что стиль проявляется только там, где есть возможность выхода в иное культурное измерение, возможность остранения, где действительность исторична, неоднородна (включает устойчивые структуры и их подвижные формы), многоградиентна, не предзадана однозначно, избыточна, вариативна. Разрушение стилевых форм человеческого существования неизбежно ведет к выпадению из истории. Это гениально представлено в работе Й. Хейзинга «Осень средневековья». Окаменение живых форм, живой игры культуры оказалось главным признаком конца исторического существования целостной формы организации жизни. Автоматизм бессознательного губит

целые цивилизации. Эта же тема просматривается в проблеме преодоления позитивности, анализируемой Гегелем в ранних работах, а затем и в проблеме преодоления отчуждения у позднего Гегеля и К. Маркса.

Однако избыточность, предпосылочность, не имеющая границ, абсолютно неопределенная, также не может служить началом деятельности, приводит в конечном счете к деиндивидуализации субъекта. Не только общество, но и наука переживают определенные периоды, когда возрастающая избыточность предпосылок деятельности порождает трудности воспроизводства деятельности, своего рода кризисы перепроизводства предпосылок деятельности. Переизбыточность, так же, как и ограниченность предпосылок деятельности, препятствует включению субъекта в деятельность в силу деиндивидуализации субъекта, невозможности выработать определенные ориентации и программы деятельности. Так, одна из острейших проблем современности — это лавинообразный рост социально функционирующей вещно-информационной предметности. «Ученый уже сейчас оказывается не в состоянии освоить обычными методами всю выходящую по его специальности литературу, что снижает эффективность его деятельности, а тем самым тормозит развитие научного знания»⁴⁵.

Если посмотреть на человеческую деятельность с этой стороны, со стороны избыточности, текучести предпосылок деятельности, уже в силу этого можно понять возникновение позиции, согласно которой именно «постоянство... основополагающий принцип культуры» и основная ее ценность⁴⁶ и что в «культуре самая возможность культуры, культурного акта стимулируется наличием в человеке сознания постоянства, неизменности, абсолюта...»⁴⁷. «Все высшие идеалы и вечные идеи суть в своем негативном значении не что иное, как протест высшего инстинкта против изменчивости и прехождения природы в истории. В своем же положительном значении все высшие идеалы и вечные идеи суть не что иное, как утверждение постоянства в символах бессмертия и абсолюта. Они суть смыслообразы культуры»⁴⁸.

Научное познание не может быть представлено в виде прямой линии (от избыточности к определенности или от определенности к избыточности), это скорее волновой, пульсирующий процесс, где сопряжены оба направления.

В этом процессе стиль является способом деятельности дифференцированного интенционально многомерного субъекта, а метод — это способ деятельности специально сформированного единого субъекта. Единый субъект может быть представлен либо одной из доминантных позиций среди исходного наличного многообразия, либо это теоретически воспроизведенный субъект, воплощающий в себе в свернутом виде общее в различных позициях.

Метод как научная технология — это оптимизированная деятельность единого субъекта. Стиль — это способ деятельности конкретно-дифференцированного, индивидуализированного интенционально-открытого субъекта. Стиль — конкретно-индивидуальное, метод — оптимальное в деятельности.

Механизм свертывания-развертывания наличных предпосылок, исходной избыточности деятельности является фундаментальным. Применительно к познанию он наиболее полно выражается в движении от абстрактного к конкретному и от конкретного к абстрактному. Работа стиля раскрывается в переходах от абстрактного к конкретному и от конкретного к абстрактному, в переходах от метода к стилю и от стиля к методу. Сам по себе этот механизм как единство метода и стиля еще практически не изучен, так как относительно недавно стал предметом научной рефлексии в его полном объеме. Процесс свертывания исходного многообразия мнений, позиций в единый стиль, а затем и в определенный метод нельзя свести к простой процедуре выбора из наличного многообразия определенной позиции.

На уровне общих механизмов познания, как подчеркивает Р. И. Кругликов, «этот процесс неизменно более содержателен: для того, чтобы элиминировать лишние степени свободы, необходимо установить, что они являются лишними. Но это возможно лишь путем построения — на основе ранее сформированных программ оптимальной текущей тактики, т. е. конкретизации ранее заготовленной обобщенной и избыточной программы»⁴⁹. Это постоянный процесс расширения, конструирования самого поля выбора, совмещенный с конкретным воплощением, с определенным, считающимся оптимальным методом, без жесткого закрепления найденной позиции. Это одновременное формирование (а не простой выбор) индивидуального избыточного поля и его стягивание, фокусировка в определенном виде деятельности. Нельзя выбрать определенный метод без целостного воспроизведения всего поля наличной и возможной избыточности деятельности, без стиля.

Если на стороне теории через посредство работы стиля отслаиваются наиболее инвариантные, определенные значения и операции, то на стороне НКМ идет накопление в свернутых формах богатства многообразных способов действий, накопление избыточности, а в их единстве происходит не только выработка наиболее оптимальной адекватной картины объекта, но и формирование нового субъекта деятельности.

Связь стиля и метода является основой становления меры соотношения избыточности и определенности научной деятельности.

§ 3. Культурно-исторические топосы как основание стиля науки

Стиль — это прежде всего чувство ответственности.

О. Перре

По мере конкретизации собственного основания стиля в сфере субъектной стороны деятельности мы все больше вторгаемся в область исторически подвижного, мерного анализа. Стиль оказывается «действующим лицом» в сфере постоянно сменяемых форм и образований исторического процесса, и обнаружение его манифестаций каждый раз свидетельствует о приближении исследователя к подлинной исторической реальности описываемого, его конкретно-исторической явленности, вписанности именно в эту конкретно-историческую ситуацию, а не в какую-либо другую, именно в данное, действительном историческом облики, а не в произвольно задаваемом исследователем. Но именно эта текущесть, постоянная модифицируемость исторической реальности приводит к крайней теоретической сложности выделения самого стиля, его строгой теоретической классификации и типологии. Возможно, сами средства современного научного анализа просто еще развиты недостаточно для объемного, исторически стереофонического представления, столь необходимого в анализе стиля. Отсюда неизбежные парадоксы, возникающие при попытке наложить на такой неклассический объект анализа, как стиль, сложившиеся средства научного познания. Парадоксы возникают прежде всего при построении единых классификаций стилей. Несмотря на несомненную пользу таких классификаций, все они тем не менее страдали либо определенным схематизмом (то есть фактически оказывались внеисторичными), либо явной неполнотой в характеристике стиля. И то и другое затрудняло в конечном счете использование самого понятия «стиль», приводило к жесткому нормативизму или к субъективизму в исследовании истории, вносило большую путаницу в умы и даже заставляло отказываться от обращения к стилю вообще.

Анализ различных типологий стиля позволяет проследить эволюцию представлений о собственных основаниях и формах стиля. Наиболее разработан этот вопрос применительно к истории искусства.

Классификации стилей первоначально осуществлялись по изменению определенных инвариантных характеристик **результата деятельности** (будь то предмет материальной или духовной культуры, вещь, текст и т. д.). Яркий образец такой «безлюдной» ис-

тории стилей — классификация Г. Вельфлина. Для Г. Вельфлина было характерно практически полное отвлечение от историко-культурного контекста и тем более от творческой индивидуальности художника. Это анализ, традиционно основанный на изучении форм, формальных элементов, форм и качеств, содержательных форм. Главное — это выявление выразительной формы, которая может быть сфокусирована даже в отдельном элементе, выражающем целое, в немногочисленных группах сочетаний элементов. Этот анализ получает свое развитие в структурной стилистике, в которой, однако, до сих пор не раскрыты основания стилеобразования.

Другой подход заключался в попытке классифицировать стили в соответствии с **основными типами технологий**, а фактически общественно-экономических формаций, в рамках которых те или иные технологии были ведущими. Однако ограничение основания стиля рамками технологии (например, художественного способа освоения действительности) явилось причиной крайнего схематизма подобных работ. Например, И. Иоффе в книге «Культура и стиль» (1927) выделил три технологических формации: натуральное хозяйство, товарно-денежное хозяйство, индустриальное хозяйство и в рамках этих формаций — по три стиля, соответствующих низовым, верхним и упадочным социальным группам: восходящий, господствующий и упадочный стили. В результате мировой художественный процесс оказался втиснут в 9 стилей. Большинство специалистов отмечают крайний схематизм концепции И. Иоффе (Г. К. Вагнер, И. Л. Маца, А. И. Каплун и др.). С одной стороны, достоинством работ И. Иоффе было то, что автор перешел от анализа результативной стороны культуры к пониманию культуры как «живой практики», процесса. Однако сама эта процессуальность культуры была рассмотрена только со стороны ее всеобщих технологических форм. «Марксизм — писал И. Иоффе, — изучает не неповторимые в своих комбинациях единичные события, а силовые линии хозяйственных формаций, экономических, социальных»⁵⁰. Отсюда и сам стиль И. Иоффе понимал как «то социологическое обобщение, где технология слита с идеологией», различие же стилей определялось непосредственно местом той или иной социальной группы в классовой борьбе. С привязкой стиля к технологическим циклам связаны многочисленные циклические концепции смены стилей. «В циклическом процессе каждый период наделяется своим определяющим стилем или группой стилей. Согласно развитой системе такого рода, для которой образцом послужило европейское искусство, типы стиля, следующие друг за другом в неизменном порядке, — это «архаический», «классический», «барочный», «импрессионистический» и «архаизирующий»⁵¹. Однако, как отмечает М. Шапиро, «циклическая схема развития

неприменима в чистом виде даже для западноевропейского мира, из опыта которого она была выведена»⁵². «Она лишь в самом первом приближении соответствует характеру нескольких раздельных этапов в истории европейского искусства» и поэтому «редко используется историками искусства»⁵³.

И, наконец, можно выделить третью группу классификации стилей, когда авторы пытаются опереться на **особенности субъекта деятельности** и используют в той или иной мере социологический подход. Сюда можно отнести концепции И. Тэна, Э. Кон-Винера, Г. В. Плеханова, В. Гаузенштейна, В. Фриче и др. Основание стиля связывается в рамках этих классификаций либо с эпохальными чертами субъекта культуры (человечество как субъект), либо с классовым субъектом или отдельными социальными группами. В середине XX в. стал заметен возврат к характеристике стиля в связи с конкретными особенностями личности (см., например, книгу А. Морье, в нашей литературе интересна в этом плане книга М. Г. Ярошевского)⁵⁴.

Выделение личностных оснований тех или иных стилей привело к заключению о невозможности достаточно жестких и четких классификаций стиля и к убеждению, что сама природа стиля не знает таких границ. Стилистические характеристики изменяются постепенно и не поддаются системной классификации на ясно разграниченные группы. Основные затруднения, часто заставляющие даже отказаться от попыток классификации, по свидетельству М. Шапиرو, таковы:

«1. Разнообразие стилей в пределах определенной культуры или общества в один и тот же период часто весьма значительно.

2. До недавнего времени художники, создававшие стиль, принадлежали иному жизненному укладу, нежели люди, которым предназначались их искусства и чье мировоззрение, интересы и образ жизни проявлялись в искусстве...

3. То, что устойчиво во всех искусствах одного или нескольких периодов, может быть не столь существенно для характеристики стиля, сколько изменчивые черты...»⁵⁵

Классификации стилей примерно по аналогичным основаниям стали появляться с конца XIX века и применительно к научной деятельности. Первоначально классификации стилей научного мышления мало чем отличались от типологии научного знания. Выделение историко-культурных инвариантов в самом знании (результате научной деятельности) было и методом выделения стилей. Различие типологий заключалось в том, какая форма научного знания бралась за основу (теория, философские принципы, единство научных и художественных идей, науки и философии и т. д.) и какое число черт научного знания определялось как необходимый минимум. Ю. В. Сачков в своих первых рабо-

тах по вопросам стиля выделял различные стили по типу логической структуры теории, по лидирующей теории, С. Б. Крымский в основу выделения картины мира и стиля мышления античного, классического и современного естествознания положил различие типов знания: соответственно мереологическое, реляционное и операционное знание. И. Б. Новик в качестве основания стиля выделяет общие методологические черты теоретического знания. И. Апостолова, А. Поликаров, В. Г. Иванов, М. Г. Ярошевский основой типологии стилей считают трансформацию категориальных структур мышления, отмечая особую роль философских категорий и т. д. Классификации стилей по результату деятельности, в частности по характеру научных знаний, необходимы, однако они еще не дают достаточного основания для различения стиля и иных образований научной деятельности. Само научное знание многомерно, может рассматриваться с разных точек зрения (онтологически, гносеологически и т. д.), и, кроме того, оно реально представлено в многообразных формах (теория, научная картина мира и т. д.), причем не любая из этих форм, взятая отдельно, является репрезентантом стиля. Недостаточность данного основания типологии стилей неизбежно приводила к описательности и часто к весьма произвольному перечислению признаков того или иного стиля.

Более обоснованными являются классификации, учитывающие целостную структуру научной деятельности, а не только ее результат. Уже М. Планк, М. Борн делали попытку представить эволюцию науки в зависимости от изменения места субъекта в научном познании. М. Борн выделял субъектную науку Древней Греции, объектную науку Нового времени и особенностью современной науки считал переход к диалектическому единству субъекта и объекта в структуре познания, сам факт рефлектируемости ученым этой взаимосвязи. В. В. Лапицкий, детализируя этот подход, выделяет натурфилософский стиль мышления (основание — знание — объект), механистический стиль мышления (субъект — объект); современный стиль мышления (субъект — условия и средства познания — объект).

Появляются первые исследования историков науки, где в основу исторического процесса включаются не только развитие эмпирической или теоретической базы науки, но и стилевые компоненты научной деятельности (П. П. Гайденок, Л. М. Баткин, В. Л. Рабинович и др.), что дает существенное приращение в анализе.

Сложность выделения стилей в науке объясняется, на наш взгляд, тем, что наука — это еще недостаточно консолидировавшееся и выявившее свою культурную сущность образование. И здесь прав И. Хейзинга, утверждая, что хотя наука развива-

ется уже на грани человеческих возможностей, приспособляемости органов чувств — так далеко сила абстракции оторвалась от нашей способности представления — и физика обрела, как и философия, лингвистика и т. д., новый язык, вступила на новый путь развития, но тем не менее наука еще не стала плодотворной для культуры в целом. «Эта наука, находясь в состоянии непрерывного становления, — отмечает И. Хейзинга, — еще не консолидировалась настолько, чтобы стать источником культуры... Сумма всего научного знания еще не стала для нас культурой»⁵⁶. Культура, согласно И. Хейзинга, подвижна. В счастливые для нее периоды объем культуры совпадает с социальной жизнью в целом. Культура то достигает почти полного отождествления с жизнью общества, то оказывается угрожающе редуцированной, почти вытесненной из жизни. И. Хейзинга предлагал говорить не о прогрессе или регрессе, подъеме или спаде культуры, но о выигрыше (обогащении, приращении) и потерях в культуре. И. Хейзинга считал, что с XX века начинается деградация форм культуры. Распадается зримая образность, утрачиваются многообразие и самобытность форм жизни, эпоха теряет свое лицо, все захлестывает чума иррационализма, а главное, исчезает стиль. «Исчезновение стиля, — пишет Хейзинга, — это основной элемент всякой культурной проблемы»⁵⁷.

Следовательно, судьба научной культуры исторически изменчива, как и культуры в целом. В любом случае, если придерживаться той точки зрения, что научная культура еще в целом достаточно молода, или той, что наука еще только выходит из кризиса культуры и не обрела многоцветья культурно-исторических форм, то это в какой-то мере объясняет ту большую сложность, какую вызывает попытка выделения исторических стилей в науке. Наука еще только начинает приходить к осознанию своей историчности и культурной определенности.

Образы истории, как входящие в континуальность человеческого сознания, так и задающие основные стратегии и формы бытия человека, сами исторически изменчивы. Фернан Бродель выделял три «истории»: «Первая история почти неподвижная, это — история человека в его отношениях с окружающей средой, медленно изменяющаяся история, подчас образующаяся из непрекращающихся возвращений из без конца возобновляемых круговоротов... Поверх этой неподвижной истории или медленно текущей истории находится история, которую хотелось бы назвать социальной... история групп и индивидов. Наконец, третью часть составляет... история, измеряемая, если угодно, не человеком, но индивидом, событийная история...»⁵⁸

Современное понимание истории явно смещается в сторону нелинейной картины, включающей не только идею направлен-

ности времени, но и пространственно-временной неоднородности исторической действительности, картины, в которой локальное и глобальное, преходящее и вечное могут оказаться «стянутыми в точку» повседневного, случайного бытия конкретного индивида. Нелинейное восприятие истории делает до остроты явной проблеме исторической ответственности человека, стоящего перед выбором путей развития. История в конечном итоге поглощает и расцветивает историческими знаками любое действие человека, однако с точки зрения собственно человеческой истории неравноценны эпохи и периоды застоя и эпохи возрождения и расцвета личности, время бесчеловечных замкнутых социальных систем (фактически как бы выпадающих из времени в силу заикленности происходящих в них процессов) и время открытых творчески развивающихся сообществ, накапливающих культурный потенциал, открывающих новые горизонты человеческого существования. Исторически-человеческая ценность времени, ценностная неоднородность временных миров истории для человека все больше осмысливается как доминанта современного исторического сознания, ведущая к трансформации стиля жизни и деятельности человека.

Наличие различных подходов к классификации стилей (циклических, ситуативных, личностных и т. д.) говорит о том, что стиль имеет отношение к различным слоям истории, он «растет» из самой неоднородности, нелинейности исторической культуры. Подлинное основание стиля заключается, очевидно, не в одном из измерений истории, обозначенных Ф. Броделем (так, глобальные циклические типологии, претендующие на открытие предельно общих алгоритмов истории, так же схематичны, как подчас произвольны модели, выводящие стиль исключительно из событийного уровня истории), но в особом типе сопряжения этих различных уровней в неких определенных доминантных топосах исторической действительности.

В осмыслении оснований стиля, при попытке создать определенную модель, образ можно обратиться к разрабатываемой в рамках современного постструктурализма модели «ризомы» (корневища, грибки). Делез, Гваттари противопоставляют образ ризомы образу дерева. Дерево — это образ мысли, строение мысли, тот аппарат, который принуждает мышление производить верные идеи. К. Парне замечает, что действительно в дереве заложено представление, происхождение, развитие, система команд, зародыш, корни, поэтому «деревья жизни», «деревья знания» существуют в голове каждого из нас и образуют основу политический власти соответствующего образа мысли⁵⁹. Делез постоянно подчеркивает необходимость отказаться от всех типов деревьев и перейти к структуре «травяного» типа, заполняющей пустоты.

«В рамках теории «ризоматики» (теории корневища, грибницы) как общей модели кочевого общества, противостоящей любой иной теории корня и теории мочковатого корня (вертикальное укоренение в почве), ее авторы выдвигают следующие политические программные противопоставления... ризома или трава противопоставляется деревьям, мысль без образа... противопоставляется образу мысли, машины войны противопоставляются государственному аппарату, множественные комплексы отрицают унификации и тотализации, сила забвения противопоставляется памяти, география противопоставляется истории, линия отрицает точку»⁶⁰. Принципами построения корневища во всех сферах социальной жизни и мышления оказываются следующие:

1—2. Принцип связи и гетерогенности, согласно которому любая точка ризомы связана с любой другой точкой в любой момент различными способами — биологическими, семиотическими, политическими, экономическими, в то же время эти связи остаются в отношении нее гетерогенными.

3. Принцип множественности: существует тотальная множественность сама по себе, т. е. без отношения к образу мира, вне практики и вне бытия.

4. Принцип «незначащего разрыва» нацелен против значимых купюр, разделяющих структуры.

5. Принцип картографии и ломки («переводной картинке», «декалькомании»), согласно которому ризома чужда всякой генеративной или структурной модели. Логика дерева как образа мира работает кальками-копиями, как с листьями деревьев; ризома, напротив, является незамкнутой, открытой миру во всех отношениях и направлениях архаичной картой-символом⁶¹.

Постструктуралистская критика образа дерева как основания и праязыка фундаментальных структур нашего мышления во многом оправдана, когда направлена на разрушение стереотипов доминирования жестких, одеревеневших, вертикальных, иерархических структур, жесткой уровневой организации мышления, общества, власти и т. д. Этот образ дерева, когда-то ставший отражением эволюции, истории, сегодня мешает дальнейшему развитию исторических представлений. Однако образ ризомы, этот глобальный бутстрап, вскрывая возможность и существование иных реалий, в своем противопоставлении образам дерева доходит до разрыва с историзмом вообще. Вместе с тем, очевидно, поиски адекватного образа исторических оснований, порождающих способности мысли, еще не завершены.

Очевидно, что «ризоматическая» подготавливает почву для «деревьев» и что «деревья», осмысленные как живые сгустки жизни (а не как одеревеневшие чудовища), также образуют ткань исторических оснований мышления. Мы прибегаем к более нейтральному об-

разу топоса, понимая, что он обладает как многими чертами «ризомы», так и способен принимать другие, самые разнообразные формы жизни.

Имеющиеся классификации стилей науки страдают абстрактностью, так как не отражают многомерно историческое основание стиля. Реально стиль развернут в целостной системе деятельности, практики, общества и не терпит статичного деления своих оснований на предмет (результат), технологию и субъект деятельности. Стиль «уловим» только в постоянном живом движении, взаимосвязи всех элементов в целостном историческом процессе. Поэтому не случайно в любой из приведенных типологий стилей, как правило, неявно используются и все другие компоненты деятельности, помимо тех, которые заявлены как исходные в типологии.

Компоненты деятельности, положенные в тех или иных классификациях в основу стиля, берутся, как правило, в слишком абстрактной и внеисторичной форме (некий субъект вообще, деятельность вообще и т. д.), вне их многообразных конкретно-исторических модификаций. Очевидно, именно здесь сказывается ограниченность средств и методов исследования, так как стиль нуждается в многомерном, многоинтервальном анализе, предполагает соединение, причем в исторически трансформирующихся формах многообразных отличий, ипостасей того или иного социального явления, что, возможно, уже требует новых (компьютерных) средств анализа.

Вместе с тем мы считаем важным при характеристике топосов науки акцентировать внимание на субъективно-инновационной включенности человека в их структуру. Основанием стиля является именно субъектная сторона деятельности, не сводимая к субъективности, но понятая в отличие от последней как исторически явленная, развернутая и в результате деятельности, и в технологии, но главным образом в формах культурной представленности самого человека.

Субъектная сторона деятельности только тогда предстает как основание стиля, когда она взята не абстрактно, но конкретно в различных «живых формах всеобщности» (К. Маркс), или топосах исторической действительности.

Не случайно, что явление стиля еще в античности впервые было зафиксировано применительно к живой речи (в риторике), как к тому, что непосредственно связано с человеком и зависит от конкретной обращенности в речевом общении одного человека к другим людям, другому человеку. В современной лингвостилистике давно уже стало фактом, что стилевые значения составляют как бы многократные наложения значений на традиционное использование того или иного знака. Эти вторичные, третичные значения непосредственно зависят от специфики конкретной си-

туации общения, от субъектного выбора. Б. А. Парахонский вводит понятие стилового знака. «Сущностью стилового знака выступает особая форма смысловой организации, особенное распределение смыслов в конкретной дискурсивной практике...»⁶² Эти стилевые оболочки знаков, особые вероятностные модели смыслов и значений, надстраиваемые над естественным языком и его устоявшимися инвариантами, составляют наиболее живую, подвижную и историческую ткань языка. Обнаружение стилевых значений равнозначно наиболее полному и конкретному постижению живого языка. Именно поэтому полное овладение языком невозможно, если человек не включен в живую речевую практику.

М. Фуко, анализируя фактически стилевые структуры науки, совершенно обоснованно отказывается искать основание стиля (эпистеме) в неких абсолютных инвариантах и нормативах истории, но обращается к живой практике дискурсии. «Могут предположить,— пишет М. Фуко,— что эпистеме — это определенное видение мира, определенный исторический срез (пласт), общий всему знанию, который задает одинаковые нормы и одинаковые постулаты, что это определенная общая стадия мысли, определенная структура мысли, которую не могут избежать люди определенной эпохи,— глобальное законодательство, написанное раз и навсегда одним главным анонимом. Под эпистеме мы понимаем в действительности совокупность отношений, объединяющих для данной эпохи те речевые практики, в которых находят место эпистемологические фигуры науки, иногда даже формализованные системы; это способ, каким в каждой из этих речевых формаций устанавливаются и совершаются переходы к эпистемологизации, научности, формализации; это последовательность порогов, которые могут существовать между эпистемологическими образованиями или науками, поскольку они возникают из смежных, но разных речевых практик. Эпистеме — это не форма познания, не тип рациональности, который сквозь самые различные науки высказывает верховное единство субъекта, духа или эпохи, но совокупность отношений, которые можно вскрыть между науками каждой данной эпохи, анализируя их на уровне дискурсивной упорядоченности...»⁶³ «Эпистеме не есть некая стабильная (неизменная) фигура... но это неопределенная подвижная совокупность сдвигов, совпадений...»⁶⁴ М. Фуко ограничивается анализом языка, дискурсии, не доходя до конкретно-исторической практики, которая только и может высветить причины доминирования тех или иных эпистеме, тех или иных структурных сдвигов в дискурсии. Но поскольку специфика научной деятельности как раз и заключается в том, что на протяжении целых столетий наука объективировалась и предметно выражалась практически только в языке, тексте, общении и лишь позднее соединилась с практикой

как целостным предметно-преобразующим процессом, то анализ Фуко в этом смысле, получая определенные конкретно-исторические границы, имеет позитивное значение.

Но если не ограничивать анализ стиля областью дискурсии, речевой практики, то его основанием нужно считать культурно-модификационные структуры социального, как «живые формы» всеобщности, субъектно-модификационную структуру социальных отношений в рамках определенной исторической формы практики как целостного процесса. Это действительно не застывшая фигура, но самая тонкая и подвижная оболочка истории, где каждый элемент — носитель не только рода, не только выражает сущностные силы человечества, но и уникально модифицирует целое, являет **своеобразное** лицо всеобщего. И все, что не выпадает из истории, неизбежно несет на себе многообразные наслоения исторической реальности. Подобно тому как в сфере языка мы можем говорить о стилистическом знаке, в сфере живой историчности, непосредственно всеобщего все приобретает вторичные, третичные и т. д. модификации, маркировки стиля. Любой результат деятельности (в том числе и научное знание) может быть использован операционально только тогда, когда он окажется принятым, освоенным, маркированным в культурной целостности. Ранее мы уже показали, что любой элемент научной деятельности содержит субъектные маркировки не случайно. Сложные надстройки (смысловые, образные, знаковые и т. д.) над любым элементом науки свидетельствуют о его включенности в живую конкретную социальность. Теория входит, модифицируясь, в различные видения объекта, метод связан с традицией, но сами традиции функционируют и утверждаются в культуре через свои различные формы.

В. Д. Плахов выделяет метасистемные формы традиции, ее бытие как «системы — реалии» и как «системы — концепты». Традиции-концепты подразделяются автором на традиции-концепты I (как непосредственные идеальные образы реальных традиций) и традиции-концепты II. Если первые придают традициям-реалиям интрасубъективное бытие, то вторые — интерсубъективное. Если традиции-концепты I, будучи идеальными образами, субъективно снятыми реалиями, представляют собой дискретные образования, в той или иной степени огрубляющие, омертвляющие непрерывно изменяющуюся действительность, то традиции-концепты II воплощают «живой непрерывный системный процесс исторической преемственности в развитии общественных отношений, выражают преимущественно социологический аспект общественного сознания»⁶⁵. Выход исследователя на уровень сложных исторических модификаций бытия такого явления, как традиция, является очень важным. Однако следует заметить, что модифицирование традиций происходит не только в сфере общественного сознания, но в

самой непосредственной жизнедеятельности людей и в этом смысле традиции-реалии не могут существовать в чистом виде, но сами реально всегда существуют в различных модификациях.

Активно переосмысливается в последнее время и идеал как образование, непосредственно включаемое многими авторами в структуру стиля науки. Идеалы, с одной стороны, выводят личность за рамки ее собственного индивидуального времени. «Это цель, вводящая индивида в историю»... идеал «соединяет поколения, утверждает каждого... как полномочного представителя рода»⁶⁶. С другой стороны, наличие идеала — это тот маркер, который включает человека, общество в историю. Но это не абсолютный и анонимный инвариант, но сугубо конкретно-историческое образование. Любой идеал существует в многообразных облициях. Идеал — это не только продукт целеполагания; приобретая в рамках живой историчности многообразные модификации, входя в стиль деятельности и образ жизни человека, «он служит, — как точно подмечает Л. А. Соловей, — необходимым условием и предпосылкой самой способности субъекта вступать в целевые отношения с объектом»⁶⁷. Но чтобы соединить человека с объектом (или субъектом), сделать его субъектом целеполагания, идеал должен быть социализирован, приобрести конкретно-исторические маркеры, стать своим, войти в стиль деятельности общества, эпохи, человека.

Наконец, и сам субъект (общество, группа, человек) выступает носителем стиля только в том случае, если он понят не абстрактно, но предельно конкретно-исторично. В «живых формах» всеобщности, в непосредственной конкретно-исторической системе отношений человек сам приобретает многообразные модификационные формы. Мы уже говорили о многообразных формах квазипредметной представленности человека. Собственно к стилевым проявлениям субъекта относится именно то, что надстраивается над естественно-необходимыми, типичными, инвариантными структурами личности и является, на первый взгляд, как бы излишеством, чем-то избыточным, но и без чего нет своеобразия личности, общества, группы, эпохи и невозможно включение субъекта в конкретные ситуации деятельности и общения. Во все времена для обозначения этого «излишнего» и вместе с тем необходимого, почитаемого в структуре личности подыскивались самые различные понятия. В совокупности взятые они отражают тонкую структуру социально-исторической, культурной включенности человека в историю, в отношения с другими людьми. Например, у Платона таких понятий было несколько, причем они несут специфическую конкретно-историческую нагруженность. Это такие понятия, как «сафросина», характеризующая особое свойство души (переводимое, видимо, неточно как здравомыслие), аретэ (достоинство),

калокагия и др. Это свойства личности, которые есть в ней помимо, сверх конкретных умений, знаний, но именно они позволяют человеку вступать в отношения с другими людьми, собственно быть человеком, выделяться среди людей достойным образом.

В эпоху Возрождения подобные качества человека обозначались понятием «благородство». Здесь выделяется аспект исторической (мало отличаемой от естественной, природной) предзаданности таких качеств, однако постепенно на первый план выходило значение благородства как результата прижизненной активности, деятельности самого человека⁶⁸. Понятие *humanitas* (человечность) уже непосредственно обозначало то, насколько человек сам создал, облагородил, образовал себя, т.е. придал себе социальное своеобразие и тем самым отошел от варварства, дикости в своей природе. *Humanitas*, согласно Фичино (как и все подобные свойства человека), проявляется только в общении с людьми. Главным в общении людей для Фичино была платоническая любовь. Чем больше человек любит равных себе, подтверждает своими делами, что он член единого рода, тем более он выражает сущность рода и доказывает, что он человек. *Humanitas* сближается с понятием культуры. Культура — это некоторая подготовительная ступень для достижения человечности⁶⁹.

В философии Гегеля собственно «человечность» впервые осознается как функция истории, а не просто природы. Человек — это отражение, фокус «второй природы», понятой исторически. Гегель рассматривает человечность в единстве субстанционального и субъективного. Она, с одной стороны, предзадана как проявление рода, сущностных сил, всеобщего, абсолютного духа, но одновременно и индивидуальна, субъективна, создается самим индивидом. Наиболее ярко это выражено у Гегеля в понимании характера. Характер человека (Гегель рассматривает его применительно к решению эстетических проблем) — это и есть непосредственно историческая оболочка, качество человека. В характере индивидуальное и общее слиты в единстве. Это «человек в своей конкретной духовности и субъективности, человеческая цельная в себе индивидуальность как характер»⁷⁰. Характер понимается Гегелем не как чисто психологическое, но именно конкретно-историческое измерение человека как целостной индивидуальности. Противоречие между субстанциональностью и субъектностью характера как источник его исторического развития разрешается или должно разрешаться, по мнению Гегеля, на основе субстанционально-всеобщего. В подходе к проблеме характера проявилась попытка Гегеля выйти к конкретному историзму, к «реальному человеческому индивиду»⁷¹.

Стиль связан с конкретно-исторической реализацией сущностных сил общества в каждом конкретном субъекте. Только пони-

мание того, что «стилевая закономерность есть не просто выражение целостности некоего абстрактного индивида, а воплощение единства конкретно-исторических сущностных сил человека, открывает действительно перспективный путь для разработки проблем стиля»⁷². Однако сами сущностные силы человека не могут быть поняты в отрыве от исторической действительности, они реально представлены, воплощены в живом социуме, и человек, включаясь в живой процесс социальной действительности, непосредственно присваивает и развивает и свои сущностные силы. Историческая действительность социального предполагает необходимость учитывать не только реализовавшиеся, результирующие формы, но и потенциальные возможности и способности субъекта. В этом смысле диалектика актуальной и потенциальной культуры, анализ личностного потенциала человека (Л. Н. Коган, Ю. Р. Вишневский, Л. И. Иванько и др.) раскрывают более полно историческую действительность социального. Как подчеркивает Л. И. Иванько, понятие потенциала преимущественно использовалось для обозначения диалектики реализации уже сформировавшихся, наличных возможностей, способностей, сущностных сил субъекта. Вместе с тем упускалось из виду, что это понятие свой полный смысл получает как мера исторического развития. В процессе труда, деятельности не только реализуются наличные возможности (способности), переходя из виртуальной формы бытия в актуальную, но и рождаются новые, возникают дополнительные силы и способности⁷³.

Стиль является не просто формой проявления всеобщего инварианта или реализации наличных сущностных сил субъекта, но и способом формирования, возникновения новых возможностей (как бы открывает новый горизонт возможностей) и способностей субъекта, так как выражает действительную историческую меру социального, живой процесс взаимного модифицирования и порождения индивидуального своеобразия. Силевые образования — это живая непосредственная историчность сущностных сил, их живое движение и развитие. Свидетельством этого является то, что носителем стиля не может быть субъект, выключенный из реальных, действительных социальных отношений. Стиль не может существовать в единственном числе, но всегда предполагает наличие иных стилей (так, даже о стиле эпохи можно судить лишь тогда, когда есть другая эпоха, отличная по стилю). Носитель стиля — многоместный субъект. Стиль — это сфера интерсубъективных отношений. Фактически весь категориальный аппарат современной гносеологии еще недостаточно разработан для отражения той особой реальности, когда действие, деятельность субъекта, сам облик субъекта определяются не только отношением к объекту, но и связью с другими субъектами. Многократные взаимоотражения

субъекта в других субъектах создают реальные модифицирующие поля бытия человека.

Гносеология должна вырабатывать новые категории для выражения особых измерений сознания и познания, всегда настроенных интер- и интрасубъективно. Именно в этом измерении формировались многие понятия теории познания И. Канта (категорический императив, трансцендентальное единство апперцепции), разрабатывалось понятие «участного сознания» М. М. Бахтиным, такую же нагрузку несет понятие «надсознательное» у М. Г. Ярошевского. К этому полю участного сознания, сознания, включенного в отношения к другим «Я» и включающего ответственную рефлекссию и саморефлексию, относится и понятие «стиль».

Стиль отражает те измерения субъекта, которые невозможны вне отношения к другим субъектам, отношения, понятого как историческое, а не только функциональное. Стиль рождается в таком отношении и не является чем-то внешним субъекту, только его бытийственной характеристикой, итогом его деятельности, независимым от него самого. Человек имеет стиль не только потому, что он действует; сама возможность действия, то, как он будет действовать, обоснованность, конкретная ответственная направленность действия зависят от того, как он вписан реально в живую коллективность, какое он имеет «лицо души» (Сенека), или стиль. Стиль может быть рефлектируем только в отношении к иному. Поэтому изучать стиль можно, специально фиксируя такие ситуации, когда нечто иное, инородное, новое входит в наличную систему стиля или порождается самой этой системой. Именно иное (иной субъект, явление, процесс, вид деятельности, новое знание) выступает зеркалом стиля, высвечивает его особенности. Поиски таких сдвигов в исторической реальности культуры и точное определение индикаторов стиля может стать одним из главных методов его выделения и исследования. Именно пороговые переходы, сдвиги, выявляя непосредственное живое, конкретное отношение как факт **исторической** реальности, являются непосредственным основанием стиля. Изучение социальных отношений не только в аспекте функционирования, но и как включающих в себя процессы порождения, исторического сдвига, бифуркации, должно быть в центре анализа стилевых образований. Поэтому именно маргинальные объекты и явления могут служить индикатором стиля.

Так, например, возникновение ткацкого ремесла в Древнем Риме послужило таким индикатором стиля мышления и стиля жизни старого, уходящего, и нового, нарождающегося. В римском обществе ткачество существовало как домашний труд женщин, но в отличие от других видов деятельности именно с ним был связан в социальных отношениях, в самой социальной действительности образ женской непорочности и чистоты. А поскольку, как

мы уже отмечали, любое явление в социуме приобретает как бы двойную и тройную жизнь, то даже после разрушения, ухода из практики ткачества как домашнего труда в традиции домашнее ткачество и образ женской чистоты оставались взаимосвязанными. Дело в том, «что до определенной поры старинные обычаи и ретроспективно восстанавливаемые нормы, вообще все то, что называлось «нравами предков», были не только изжитой противоположностью, но органичной составной частью реальной действительности. Лишь вместе они образовывали ту особую конкретно-историческую среду, в которой протекала жизнь римлянина и которая характеризовалась, в частности, упадком домашнего ткачества в повседневной практике и стремлением восстановить его на уровне идеала и нормы. Уходя из жизни как производство, домашнее ткачество оставалось в ней как идеальный нравственный образ и ценность»⁷⁴. Отсюда именно на ткачество в ремесленных мастерских были перенесены все негативные оценки традиционного общественного сознания и именно с ним были связаны все образы, оппозиционные традиционному стилю. Это происходило несмотря на то, что были развиты и другие виды ремесла, социальные отношения в которых мало чем отличались от ткачества. Но среди всех развивавшихся ремесел именно ткачество послужило как бы социокультурным зеркалом, отразившим особенности традиционных отношений и стиля, сделало их рефлектируемыми и отстраненно-представимыми в реально изменившихся условиях хозяйственных отношений. «Ткачество вне дома с самого начала воспринималось не как разновидность традиционного ремесла, а как противоположность некогда характерной для него патриархальной атмосфере»⁷⁵. То есть именно в ткачестве стал общественно явным происходящий сдвиг, разрыв, порог между старым и новым в традиции, в стиле жизни и мышления.

Совершенно аналогичным индикатором смены стилевых доминант стало в античности отношение к мореплаванию — так называемая тема осуждения мореплавания. С одной стороны, было отрицательное отношение к мореплаванию, с другой стороны, осознавалось бесспорно важное влияние мореплавания на развитие античной цивилизации, всей картины действительности. Если историк пренебрегает первым фактом, не пытаясь понять его связь со вторым, то тем самым он многое упускает из реальной истории, а именно становление самого субъекта, изменение его стиля жизни и восприятия действительности, что сделало возможным с точки зрения социальной само дальнейшее развитие мореплавания. В обществе всегда функционируют определенные стилистические образцы, которые регулируют и укрепляют образ жизни и способ производства или способствуют изменению их в конкретном направлении. Мореплавание стало фактом маргинальным, так как,

с одной стороны, нарушило нравственную высшую и общественную ценность того времени — неподвижность как принцип патриархального существования. «Римский **образец** (подчеркнуто нами. — Л. А.) этой идеализировавшейся неподвижной патриархальности носил, как известно, исключительно сельский характер и никогда не был связан с морем»⁷⁶. Море воспринималось с позиции традиционного патриархального стиля мышления как особый мир, совершенно чуждая стихия, враждебная природе человека. Мореплавание отсюда — это самовольное преодоление установленных природой границ. С другой стороны, вокруг мореплавания формировался и другой слой социальных значений, где была приглушена отрицательная оценка. Иной мир моря осмысливался и как мир повышенных религиозных возможностей, где божественные силы проявлялись ярче и непосредственнее, чем на суше, как такая стихия, которая очищает человека (мотив «суда моря») и может даровать ему иную судьбу («острова счастливых»), однако путь к иной судьбе и к обновлению самого человека здесь уже лежит не через патриархальную инертность, но через деятельную активность самого человека, его ум, силу и ловкость и т. д. Поэтому, как заключает Ю. Г. Чернышев, окончательное положительное освоение в культуре античности мореплавания стало возможным лишь с изменением реального, а первоначально как бы конструируемого в культуре положения человека, его места в мире, «тогда, когда связанные с отмиравшей полисной моралью утопические мечты о «неподвижном», беззаботном благоденствии вытесняются упованиями на развитие, на активную и сознательную деятельность человека»⁷⁷.

Факт культурного освоения и реального широкого распространения мореплавания еще мало отражен применительно к истории науки. Вместе с тем порожденные мореплаванием новые образцы и способы конструирования образов действительности и моделей поведения самого человека породили разветвленные потоки стилеобразования в области познания в целом и научного познания в особенности. Например, сам образ перехода в иную стихию, в иную среду послужил матрицей для освоения человеком теоретически и практически других сред. Как показал Б. А. Старостин, катализатором в создании концепции К. Э. Циолковского послужили как раз образы освоения новых стихий, отличных от земной. Языковые сочетания «воздушный океан», «космические корабли» до сих пор несут информацию об осуществившемся в рамках стиля переносе эвристических образов из области общекультурных смыслов, связанных с мореплаванием, в область научной теории и научного стиля мышления. Образы освоения иной стихии, «навигационно-космическая установка» позволила К. Э. Циолковскому не только создать новое мировоззрение, но соединить его с практи-

ческими инженерными решениями, матрицами для которых также послужили гидродинамические теории и объекты. Соединение космизма как мировоззрения с практикой, с техническим воплощением оказалось затруднено в рамках несколько иного стиля мышления, воспринимавшего космос по аналогии с освоением новых земель, географически-пространственно. Географически-пространственная доминанта стиля мышления не позволила, в частности, Н. Ф. Федорову стать родоначальником практического освоения космоса, хотя многие общемировоззренческие идеи весьма сближали его картину космоса с мировоззрением К. Э. Циолковского. Н. Ф. Федоров мыслил подчеркнуто континентальными категориями. Грядущее космическое преобразование, по его мнению, должно быть произведено земным войском, «которое будет, как кочевники по степи, кочевать во Вселенной, постепенно присоединяя к Земле смежные участки пространства. При этом преобразование лица Земли (а затем и космоса) достигается не динамическими средствами типа ракет, радио и т. д., но эстетически-статично — через архитектуру»⁷⁸. Следовательно, два различных вида стиля мышления в области освоения космоса в своих истоках сохранили весьма древние доминанты положительного (освоение иной стихии) и отрицательного отношения к мореплаванию. Мореплавание и в данном случае служит как бы маргинальным архетипом, индикатором, позволяющим отличить один стиль от другого.

В науке индикаторами стиля могут служить факты принятия или непринятия той или иной научной теории, идеи, факта, интерпретации и т. д. А. П. Огурцов отмечает, например, что идеи Максвелла так трудно приживались во французской физике и математике потому, что идеалы научности, принятые в системе образования и во всей культуре Франции, отличны от способа, стиля мышления, свойственного английским ученым⁷⁹.

П. Фейерабенд показал, что самая значительная заслуга Г. Галилея заключалась в изменении «естественных интерпретаций» фактов наблюдения⁸⁰. Сам по себе этот анализ очень важен, хотя и нельзя согласиться с иррационалистическими выводами автора. Действительно, традиционная гносеология всегда трактовала научные факты как чуть ли не полное тождество с объектом, явлением. Однако постоянно вскрываемые противоречия такого понимания факта привели к выработке его более сложной модели. Стали различать факт как элемент нашего сознания. Но этого также недостаточно, поскольку в факте можно выделить его как бы естественное (естественно-историческое) тело и его социокультурную действительность (в многообразных формах), которая столь же объективна, хотя имеет уже объективность другого рода, генетически и функционально более тесно связанную с субъектной стороной деятельности. Понятие «естественные интерпретации» фикси-

рует переход, тот момент, когда социокультурное бытие факта начинает восприниматься как его естественное бытие, как естественное тело самого факта. И, действительно, громадна заслуга ученого, если он может выработать такой стиль мышления, который как бы освещает новым светом бытие фактов, разделяет в нем естественные и социокультурные слои. Конечно, приемы деятельности ученого несводимы в данном случае к логике, к тому, что традиционно считается рациональным, они высвечивают новые слои самой субъективности, устраняя те из них, которые только принимались за нечто объективное и естественное, но таковыми не являются. Исключая их из бытия фактов, Г. Галилей способствовал отнюдь не прогрессу иррационализма, но новому взлету рациональности. Рациональным в науке является не только постоянная направленность на объект, но и осмысленность, рефлексированность самой позиции субъекта, осознанное оперирование стилевыми структурами (включая и саморекламу, и использование приоритетных образов-символов обыденного сознания и т. д.).

Более того, Л. М. Баткин показал, что открытию предметных горизонтов познания предшествует или совпадает с ним фундаментальная перестройка субъекта культуры. Становление гуманистического типа культуры в эпоху Возрождения Л. М. Баткин исследует не как исторически линейный непрерывный процесс, но как глубокую метаморфозу культурного слоя, возникшую в локальном (но оказавшемся доминантным на многие века) историческом и социальном пространстве. Фокусировка внимания исследователя на локальном культурном топосе позволила открыть порождающую и самоопределяющуюся клеточку новой культуры. Объективные возможности появления нового типа субъекта с возникновением неформальных общностей гуманистов реализовывались и приумножались достаточно осознанно формируемой и воссоздаваемой самими гуманистами особой культурно-смысловой средой. Уникальностью возникавшего топоса культуры как раз и явилось то, что совпали стилизация жизни и сама жизнь⁸¹. Только в позднейшем восприятии стилизация понимается как что-то вторичное по отношению к жизни, искусственное, случайное, «холодное» и т. д. К такой оценке стилизации, к сожалению, склоняется и Л. М. Баткин, несмотря на то, что именно им впервые вскрыты тончайшие структуры стилевых трансформаций культуры, на наш взгляд, самоценные и незаменимые ничем в определенных точках культурно-исторической реальности. Стилизация жизни осуществлялась итальянскими гуманистами буквально во всем: во многом осознанная ритуализация жизни, сценичность поведения, уникальная система ценностей и престижей, «серьезность игры» в античность, построение быта, окружающей обстановки как системы знаков-символов, выражающих гуманистические понятия и мифологии,

высокопарная представительность в самых неожиданных, казалось бы, местах, таких, как, например, интимная переписка, особая форма представленности знания в диалоге — смена позиции как смена лиц, масок и т. д. Все это было обращено на **выделение**, представление себя, в себе и через себя нового субъекта культуры, нового субъектного культурного топоса. «Все они старались быть античными, все они были обречены на образцовость»⁸². Стилизация оказывается не только стихийно осуществляющимся процессом, но и рационально осмысляемым способом субъектного самоопределения. Л. М. Баткиным очень точно выделена специфичность того социокультурного измерения, в котором разворачиваются стилевые трансформации. Сообщество гуманистов с его уникальными стилевыми структурами формируется как бы во внетехнологической сфере (вне и над профессиональной деятельностью), в сферах, вообще выходящих за рамки устоявшихся социальных форм организации и в определенном смысле как бы не в пространстве вообще, но во времени (труды в досуге), в культуре своей эпохи и в то же время вне ее (культурное двуязычие), между игрой и жизнью (серьезная игра) и т. д. Именно в таких состояниях культурно-исторической реальности стилевые трансформации становятся не чем-то второстепенным, но действительно совпадают с творчеством самой жизни, с творчеством новой культуры.

В науке наиболее явно пороговые ситуации, сдвиги возникают по поводу включения тех или иных фактов, теорий и др. результатов деятельности в структуру научного мышления. Т. Кун зафиксировал эти пороговые отношения науки, в которых проявляется стиль, как отношения типа «аномалия — парадигма». Именно то, что воспринимается как аномалия, является первым индикатором наличия стиля (парадигмы). П. Фейерабенд и представители так называемой интерпретативной социологии науки⁸³ делают следующий шаг, пытаются показать всю сложность отношений «вхождения — невхождения» аномалий в определенную систему стиля. Главной заслугой этих исследований является открытие многомерного, многозначного бытия любого образования науки, феномена наслаивания социокультурных смыслов по мере вхождения факта, теории в определенный научный стиль.

В советской литературе уже давно признана взаимосвязь социокультурных (ценностных) и познавательных структур, однако тонкие механизмы их взаимосвязи в научном познании начали наиболее активно исследоваться в последнее время. Возьмем недавно вышедшую работу В. М. Найдыша «Научная революция и биологическое познание. Философско-методологический анализ»⁸⁴. В структуре научной революции В. М. Найдыш выделяет два измерения: ценностное и познавательное и соответственно два компонента в каждом. Это компоненты потребностно-мотивационный

(ПМК) и нормативно-регулятивный (НРК), фактуально-эмпирический (ФЭК) и теоретико-методологический (ТМК). В период зарождения нового способа мышления в результате взаимодействия этих компонентов возникает первичное основание нового стиля (способа) мышления — **идея**, которая затем, через ряд стадий, разворачивается опять в четыре новых компонента: ПМК, НРК, ФЭК и ТМК, что составляет уже полное основание стиля, нового способа мышления.

В целом эта модель научной революции более полная, чем те, которые можно найти в работах зарубежных исследователей. Главным ее преимуществом является сохранение предметно-содержательных измерений науки, в то время как в исследованиях зарубежных социологов предметные структуры науки часто просто распадаются в ходе анализа. В работе В. М. Найдыша «идея» трактуется уже не только как традиционно-гносеологический феномен, но как единство цели и действия, познания и стремления, т.е. как такой элемент, который непосредственно связан с субъектом практики, культуры, а не только является простой копией объекта. Как отмечал еще А. Ф. Лосев, сам термин «идея» в античности обозначал буквально «то, что видно», непосредственно видимо человеком и не отторжимо как от объекта, так и от позиции человека. Именно через идею — этот как бы особый слой, где все сплавляется воедино (ФЭК, ПМК, ТМК, НРК) — идет становление стиля мышления. Но что такое идея в данном случае? В данном случае она фактически репрезентирует саму живую историческую реальность (взятую с гносеологической стороны), ту реальность, которая и выступает формообразующим основанием стиля. Поэтому более точно, видимо, было бы говорить не только об идее, но об **особом целостном слое живого движения и взаимодействия всех компонентов научной деятельности, который может быть представлен не только идеей, но и образом, образцом, установкой, теоретической доминантной схемой, научной картиной мира, т.е. любым компонентом, получившим в определенной конкретно-исторической ситуации функцию репрезентанта живой историчности, приоритетного образца новой зарождающейся исторической реальности**. Нельзя согласиться с В. М. Найдышем в том, что идея или, точнее, живой исторический слой взаимодействия различных компонентов науки и культуры как неполное основание стиля затем заменяется полным основанием в форме сформировавшихся новых ПМК, ФЭК, НРК, ТМК. Конечно, с развитием этих компонентов первичное основание стиля получает свои более развитые формы выражения, но это не значит, что живая историческая реальность полностью заменяется ими. Живая историческая реальность, т.е. взаимосвязь всех компонентов деятельности, сохраняется постоянно и только либо как бы уходит вглубь, либо выходит на по-

верхность научных исследований. Сами по себе ПМК, НРК, ФЭК, ТМК в отрыве от этого глубинного слоя отнюдь не являются основанием стиля мышления, напротив, при полном отрыве от него могут превратиться в «мертвые», бессмысленные структуры (ФЭК и ТМК), в стереотипы и догмы (ПМК и НРК), которые как таковые уже не могут в этом случае называться научными. В науке, бесспорно, есть чисто предметные, максимально объективированные и онтологизированные структуры, но столь же необходимо идет и их постоянное переосмысление, модификация, интерпретация, наложение на первичные структуры вторичных, третичных смыслов. Стиль науки способствует как вычленению наиболее инвариантных, затем онтологизируемых смыслов и значений, так и их постоянному модифицированию, соединению с позицией субъекта.

Основанием стиля является именно историческая реальность, мерой действительности которой и выступает стиль. Обращение к истории требует конкретного анализа, а следовательно, и выделения доминант исторического процесса. Крупные стили всегда выделялись еще и по временному признаку, по доминированию тех или иных измерений исторического времени. Возведение в ведущий признак стиля эталонов прошлого характерно для классицизма, выбор в качестве основания картины действительности идеалов, идеальных ситуаций отличает романтизм с его центральным приоритетом — направленностью в будущее, опора на настоящее с различным пониманием соотношения в нем прошлого и будущего отличает различные формы реализма. Доминанта как элемент основания стиля — явление историческое, а не только функциональное, так как содержит направленность последующего осуществления процесса. В науке еще только начинают исследоваться механизмы выдвижения тех или иных доминант (героизация в период античности, престижность в эпоху Нового времени, приоритетность, генерализация, глобализация — в наше время и т. д.). Так или иначе этой проблемой занимались многие крупные ученые. Известен афоризм М. Планка, которого интересовали пути выдвижения того или иного научного направления как лидирующего. Причины выдвижения тех или иных доминант не могут быть найдены только при рассмотрении науки в отрыве от общества, культурной среды, без включения научной деятельности в систему междисциплинарных отношений. На это обращают внимание Е. Д. Бляхер и Л. М. Волинская, проанализировавшие процесс генерализации физической научной картины мира⁸⁵. Ю. И. Мирошников показал роль образованной общественности в принятии или непринятии научных открытий⁸⁶. Специально вопросы восприятия научных открытий исследовались Н. Г. Рубайловой⁸⁷. Однако в целом эта проблема остается еще недостаточно изученной, исследователи

науки здесь по-прежнему пока стоят в некоторой растерянности перед открытым «ящиком Пандоры».

Подытоживая разговор о методологии выделения оснований стиля науки, отметим следующее:

— во-первых, основанием стиля являются культурно-модификационные структуры научной деятельности. Это **субъектно-индивидуализирующие модификации практики и познания в рамках определенной социокультурной целостности — топоса науки**. Отсюда методологическое требование: при исследовании стиля необходим тонкий дифференциальный анализ, позволяющий отчленить естественно-исторические и социокультурные модификации того или иного явления;

— во-вторых, основание стиля — это конкретно-исторические интерсубъективные отношения: отношение-порог, отношение-сдвиг, «живые формы» всеобщности; отсюда методологическое требование необходимого поиска маргинальных явлений как индикаторов стиля;

— в-третьих, основание стиля — это конкретно-исторические **доминанты исторического процесса**. Отсюда главная задача — поиск адекватных теоретических процедур выделения действительных доминант.

Следовательно, стиль — это в полном смысле явление исторической реальности. И можно завершить этот раздел словами известного историка искусства Мейера Шапиро: «Теория стиля, адекватная психологическим и историческим проблемам, еще ждет своего создания. Она требует более глубокого знания принципов формальной организации и выражения, а также единой теории процессов общественной жизни, в которой соединились бы как практические обстоятельства, так и эмоциональное поведение человека»⁸⁸.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Фейербах Л. История философии. М., 1974. Т. 2. С. 253.

² Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1972. С. 139.

³ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 42. С. 118.

⁴ Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. М., 1974. Т. 1. С. 427.

⁵ Гегель Г. В. Ф. Наука логики. М., 1972. Т. 3. С. 295.

⁶ Ватин И. В. Человеческая субъективность. Ростов н/Д, 1984. С. 139.

⁷ Клямкин И. Какая улица ведет к храму? // Новый мир. 1987. № 11. С. 186.

⁸ Абульханова-Славская К. А. Деятельность и психология личности. М., 1980. С. 27—51.

⁹ Голубчиков А. Я. Онтогенетическое развитие человеческой индивидуальности как системы: диалектика индивидуализации и социализации: Автореф. ... дис. канд. филос. наук Свердловск, 1982. С. 6.

¹⁰ Стиль жизни личности // Теоретические и методологические проблемы. Киев, 1982. С. 68.

- ¹¹ Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. С. 140.
- ¹² См.: Бахтин М. М. К философии поступка // Философия и социология науки и техники. Ежегодник. М., 1986.
- ¹³ Абульханова-Славская К. А. Указ. соч. С. 19.
- ¹⁴ Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 г. // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 42. С. 119.
- ¹⁵ Маркс К. Экономические рукописи 1857—59 гг. // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 46, ч. 1. С. 476.
- ¹⁶ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 42. С. 36.
- ¹⁷ Там же.
- ¹⁸ Гегель Г. В. Ф. Политические произведения. М., 1978. С. 178.
- ¹⁹ Кузнецов Б. Г. Встречи. М., 1984. С. 5.
- ²⁰ Там же. С. 6.
- ²¹ Там же. С. 9—10.
- ²² Лосев А. Ф. Классическая калокагатия и ее типы // Вопр. эстетики. Вып. 3. М., 1960. С. 452.
- ²³ Там же. С. 453.
- ²⁴ Там же. С. 416.
- ²⁵ Там же. С. 456.
- ²⁶ Там же.
- ²⁷ Там же.
- ²⁸ Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 178.
- ²⁹ См.: Дубровский Д. И. Проблема идеального. М., 1983.
- ³⁰ См.: Пивоваров Д. В. Проблема носителя идеального образа: Операционный аспект. Свердловск, 1986.
- ³¹ См.: Классен Э. Г. Идеальное: Концепция Карла Маркса. Красноярск, 1984.
- ³² Классен Э. Г. Категория «идеальное» в работах К. Маркса // Вопр. философии. 1987. № 10. С. 85.
- ³³ Феофанов О. Агрессия лжи. М., 1987. С. 90.
- ³⁴ Кругликов Р. И. Избыточность как принцип программирующей деятельности головного мозга // Вопр. философии. 1984. № 9. С. 86—87.
- ³⁵ Эдельман Дж., Мауткасл В. Разумный мозг. М. 1981. С. 74.
- ³⁶ Тэрнер В. Символ и ритуал. М., 1983. С. 33.
- ³⁷ См.: Лосев А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М., 1976.
- ³⁸ Пришвин М. М. Дневники. М., 1990. С. 193.
- ³⁹ См.: Научная картина мира. Логико-гносеологический аспект. Киев, 1983; Научная картина мира. Общенаучное и внутринаучное функционирование. Свердловск, 1985; Культура, человек и картина мира. М., 1987; и др.
- ⁴⁰ Кемеров В. Е. Научная картина функционирования общества как схема деятельности субъекта // Научная картина мира. Свердловск, 1985. С. 124.
- ⁴¹ Шкловский В. Б. О теории прозы. М., 1983. С. 14—15.
- ⁴² См.: Общая риторика. М., 1986. С. 41—42, 51.
- ⁴³ Там же.
- ⁴⁴ Там же.
- ⁴⁵ Дубровский Д. И. Проблема идеального. С. 208—209.
- ⁴⁶ Голосовкер Я. Э. Логика мифа. М., 1987. С. 125.
- ⁴⁷ Там же. С. 124.
- ⁴⁸ Там же.
- ⁴⁹ Кругликов Р. И. Указ. соч. С. 87.
- ⁵⁰ Иоффе И. Культура и стиль. Л., 1927. С. 29.
- ⁵¹ Шапиро М. Стиль // Советское искусствознание. 1988. № 24. С. 400.
- ⁵² Там же.
- ⁵³ Там же. С. 401.
- ⁵⁴ См.: Morie H. La psychologie des styles. Geneve, 1959; Ярошевский М. Г. Сеченов и мировая психологическая мысль. М., 1981.

- ⁵⁵ Шапиро М. Указ. соч. С. 418.
- ⁵⁶ Huzinga J. Incertitudes // Essai de diagnostic du souffre notre temps. P., 1939. P. 212—213. Цит. по: Тавризян Г. М. О. Шпенглер, И. Хейзинга: две концепции кризиса культуры. М., 1988. С. 234.
- ⁵⁷ Op. cit. P. 64.
- ⁵⁸ Braudel F. La Mediterranee of le monde mediterraneen à l'epo que de Philippe II. P., 1949. Приводится по: Пригожин И. Переоткрытие времени // Вопр. философии. 1989. № 8. С. 4—5.
- ⁵⁹ См.: Некрасов С. Н. Социальный прогресс и проблема фетишизма. С. 82.
- ⁶⁰ Там же. С. 83—84.
- ⁶¹ См.: там же.
- ⁶² Парахонский Б. А. Стил мышления. Философские аспекты анализа стила в сфере языка, культуры и познания. Киев. 1982. С. 12.
- ⁶³ Foucault M. L'archeologie du savoir. P., 1969. P. 249.
- ⁶⁴ Op. cit. P. 250.
- ⁶⁵ Плахов В. Д. Традиции и общество. Опыт философско-социального исследования. М., 1982. С. 90—92.
- ⁶⁶ См.: Давидович В. Е. Теория идеала. Ростов н/Д., 1983. С. 57.
- ⁶⁷ Соловей Л. А. Практическая природа идеалов познавательной деятельности. Киев. 1986. С. 64.
- ⁶⁸ См.: Брагина Л. М. Проблема нравственного идеала в этике Кристофоро Ландино // Культура эпохи Возрождения. Л., 1986.
- ⁶⁹ См.: Черняк И. Х. Термин Humanitas у Марсилино Фичино // Культура эпохи Возрождения.
- ⁷⁰ Гегель Г. В. Ф. Эстетика. Т. 1. М., 1968. С. 244.
- ⁷¹ Там же.
- ⁷² Стил жизни личности. С. 35.
- ⁷³ Иванько Л. И. Личностный потенциал работника: методологические проблемы исследования // Личностный потенциал работника в условиях интенсификации производства. Свердловск. 1986. С. 10—11.
- ⁷⁴ Ляпустин Б. С. Женщины в ремесленных мастерских Помпей. // Быт и история в античности. М., 1988. С. 77.
- ⁷⁵ Там же. С. 84.
- ⁷⁶ Чернышев Ю. Г. Мореплавание в античных утопиях // Быт и история в античности. С. 108.
- ⁷⁷ Там же. С. 113.
- ⁷⁸ Старостин Б. А. К истокам идей космонавтики // Природа. 1977. № 10. С. 85.
- ⁷⁹ Огурцов А. П. История естествознания, идеалы научности и ценности культуры // Наука и культура. 1984. С. 178—179.
- ⁸⁰ См.: Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М., 1986.
- ⁸¹ См.: Баткин Л. М. Итальянские гуманисты: стил жизни, стил мышления. М., 1978. С. 107.
- ⁸² Там же. С. 4.
- ⁸³ Гильберт Д., Малкей М. Открывая ящик Пандоры. Социологический анализ высказываний ученых. М., 1987. С. 269.
- ⁸⁴ См.: Найдыш В. М. Научная революция и биологическое познание. Философско-методологический анализ. М., 1987.
- ⁸⁵ Бляхер Е. Д., Волинская Л. М. Генерализация физической картины мира как момент исторического движения познания // Вопр. философии. 1971. № 12.
- ⁸⁶ Мирошников Ю. И. О роли образованной общественности в развитии научного познания (на примере классической биологии) // Средства и факторы развития научного познания. Свердловск, 1986.
- ⁸⁷ См.: Научное открытие и его восприятие. М., 1971.
- ⁸⁸ Шапиро М. Указ. соч. С. 425.

СТИЛЬ И КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ

§ 1. Философские образы истории и стиль науки

Что это за чувство современности? Это никак не та способность стрелка попадать в летящую птицу и подбирать ее мертвую.

М. Пришвин

Задавая горизонты нового эстетического анализа, М. М. Бахтин тесно связывал понимание эстетического объекта с введением его в поле культурно-исторического бытия. Тонкая, текучая размерность исторического оказалась поэтому представлена у М. М. Бахтина в достаточно развитых категориальных формах.

Эстетический объект, понятый культурно-исторически, это прежде всего многомерный объект. М. М. Бахтин выделяет два основных его измерения: архитектоническое и композиционное. «...Архитектонические формы суть формы душевной и телесной ценности эстетического человека, формы природы — как его окружения, формы события в его лично-жизненном, социальном и историческом аспекте и проч.; все они суть достижения осуществленности, они ничему не служат, а успокоенно довлеют себе,— это формы эстетического бытия в его своеобразии»¹. «Композиционные формы, организующие материал, носят телеологический, служебный, как бы беспокойный характер и подлежат чисто технической оценке: насколько адекватно они осуществляют архитектоническое задание»².

Понятие архитектонического у Бахтина включает, на наш взгляд, два основных мыслительных пласта: это представление об исторической причастности культуры, каждого культурного акта и понимание истории как культурно-осмысленной и индивидуально-укорененной. Смысл любой точки зрения появляется лишь в соприкосновении с другой точкой зрения, «лишь там, где на их границах рождается существенная нужда в ней, в ее творческом своеобразии находит она свое прочное обоснование и оправдание; изнутри же ее самой, вне ее причастности единству культуры, она

только голо-фактична, а ее своеобразие может представиться просто произволом и капризом»³. Открытость культуре, интенциональность явления, «размыкающая круг голой душевной наличности», приобщает его к истории. Культура исторична, так как это не единый неподвижный монолит, но она многоградиентна, «вся расположена на границах». Нет поэтому нейтральной действительности, она постоянно втягивается историчностью культуры, вынуждена принимать на себя определенную позицию. «Только в непосредственной отнесенности и ориентированности в единстве культуры явление перестает быть просто наличным, голым фактом, приобретает значимость, смысл, становится как бы некой монадой, отражающей в себе все и отражаемой во всем»⁴. «Каждое явление культуры конкретно-систематично, то есть занимает какую-то существенную позицию по отношению к преднаходимой им действительности других культурных установок и тем самым приобщается заданному единству культуры»⁵. Любая изоляция или разрушение культурных границ, будь то формальный эстетизм, абсолютный теоретизм или редукция к только этическому моменту, исключает явление из истории. «Изолированных рядов история не знает: изолированный ряд как таковой статичен, смена моментов в таком ряду может быть только систематическим членением или просто механическим положением рядов, но отнюдь не историческим процессом; только установление взаимодействия и взаимообусловленности данного ряда с другими создает исторический подход. Нужно перестать быть только самим собой, чтобы войти в историю... изолированная техника вообще не может иметь историю»⁶. М. Блок дает очень близкое бахтинскому понимание истории. Он так же противопоставляет науки, которые искусственно расчленяют время на гомогенные отрезки и историю. История, в понимании М. Блока, это «живая действительность, необратимая в своем стремлении, время истории — это плазма, в которой плавают феномены, это как бы среда, в которой они могут быть поняты»⁷.

У М. М. Бахтина не только различены реальная живая история и «моменты абстрактно познанной историчности», но сама реальность истории связана с участным сознанием, с индивидуальным ответственным поступком. Историческая центрация бытия (реальный полицентризм), выделение в нем реальной событийной неоднородной динамики проходит у Бахтина через индивидуальное существование человека — его индивидуальное не-алиби-в бытии. Сама ответственность поступка коренится в его индивидуальности и незаменимости. «Ответственный поступок и есть поступок на основе признания должествующей единственности»⁸. Индивидуальный поступок делает причастной культуру бытию-событию, т. е. включает ее в жизнь, в историю. Но, с другой стороны, единствен-

ность и своеобразие возможны только через культурный диалог, только в выходе на культурные границы.

В тесной взаимоувязанности индивидуально-ответственного существования, культуры и истории — уникальность образа истории М. М. Бахтина. Он отличен от историчности в понимании Ницше и Хайдеггера. В отличие от Ницше, у Бахтина ответственный поступок, разрывающий однородность бытия, сущностно опосредован культурой. У Ницше центрация (и децентрация) бытия осуществляется через ничем не опосредованную волю к власти. На различие взглядов Бахтина и Хайдеггера обращается внимание в литературе. «Для Бахтина акт понимания феноменального мира ведет не внутрь, к узрению онтологической структуры собственного «Я», а принципиально вовне... я нахожу себя не просто «в мире», — как считает Хайдеггер, — а в единственном месте этого мира, где по определению никто другой не может существовать»⁹.

Для нашего исследования важно еще и другое. Оказывается, что только индивидуально-ответственная размерность исторической реальности включает и необходимость стилевых характеристик. Проблема стиля коренным образом переосмысливается М. М. Бахтиным по сравнению с традиционной стилистикой. Традиционная стилистика отводила стилю второстепенную роль, а его анализ сводился к изучению технических приемов, его формальной морфологии. «Стилистика в большинстве случаев предстает как стилистика комнатного мастерства и игнорирует социальную жизнь слова вне мастерской художника, в просторах площадей, улиц, городов и деревень, социальных групп, поколений, эпох. Стилистика имеет дело не с живым словом, а с его гистологическим препаратом...»¹⁰ Согласно Бахтину, «стиль работает не словами, а моментами мира, ценностями мира и жизни, его можно определить как совокупность приемов формирования и завершения человека и его мира, и этот стиль определяет собою и отношение к материалу, слову, природу которого, конечно, нужно знать, чтобы понять это отношение»¹¹. Стиль связывается Бахтиным с выходом в архитектурное измерение. «Правильная постановка проблемы стиля... вне строгого различения архитектурных и композиционных форм невозможна»¹². Аналогично у А. Блока: «Стиль всякого писателя так тесно связан с содержанием его души, что опытный взгляд может увидеть душу по стилю»¹³. Индивидуальная топика исторической реальности включает в себя и стилеобразование. Это еще раз подтверждает, что стиль связан с реальной историчностью бытия.

В ходе анализа работ Бахтина поднимается и другой вопрос: насколько наука причастна реальной историчности в ее индивидуально-ответственных измерениях? Позиция Бахтина не может быть интерпретирована однозначно. С одной стороны, он фикси-

рует глубокое распадение научности (теоретичности) с миром исторической реальности. Это сближает его позицию со всей западно-европейской феноменологической традицией. Более того, Бахтин пытается принципиально развести познание, этический поступок и художественное творчество в их отношении к «преднаходимой ими действительности», т. е. к действительности исторической. «...Познание как бы ничего не преднаходит, начинается сначала или точнее — момент преднахождения чего-то значимого. Помимо познания остается за бортом его, отходит в область исторической, психологической, личностно-биографической и иной фактичности, случайной с точки зрения самого познания. Действительность, входя в науку, сбрасывает с себя все ценностные одежды, чтобы стать голой и чистой действительностью познания, где суверенно только единство истины»¹⁴.

С другой стороны, М. М. Бахтин предполагал необходимость теоретического в культуре, возможность прехождения теоретическим самого себя, его размыкания при соединении с участным сознанием, с ответственным поступком. «Если мы возьмем современный поступок оторванно от замкнувшейся в себе теории, то получим биологический или технический акт. История не спасает его, ибо он не укоренен в последнем единственном единстве»¹⁵. Еще более значимо другое направление мысли Бахтина — а именно то, что истина может быть получена не в результате абсолютно замкнутого в себе монологичного теоретического мира, но в диалоге, т. е. процесс получения истины включает в себя культурные границы, культурную вариативность через культурно-историческое многоголосие диалога.

Именно такая постановка вопроса представляет собой попытку существенно расширить горизонт научности в работах Гадамера. Образ науки и образ истории как бы сталкиваются Гадамером через проблему «истина и метод» и взаимообогащаются. Является ли истина только результатом методической работы, понятой согласно классическому эталону научности (снятому с естествознания), или основания истины гораздо шире? Гадамер ставит своей задачей включить историю, исторический опыт в процесс получения истины, и одновременно тем самым расширить область научного, ввести новое пространство научности, новое его измерение, включить в науку гуманитарное, историческое познание, не исключая их своеобразия. Историческое представлено в интерпретации Гадамера через позицию включенного в научную деятельность человека. Человек внутри историчности, и вместе с тем история дана ему в предании, в опыте.

Ограниченность норм естественно-научного познания Гадамер видит в ограниченности научного опыта, всецело сводящего познание лишь к методическому испытанию налично-данного. Научный

опыт чужд истории. «Цель науки заключается как раз в такой объективации опыта, чтобы в нем не оставалось никаких исторических моментов, научный эксперимент добивается этого при помощи своей методологии... Ведь всякий опыт значим лишь постольку, поскольку он подтверждается: в этом смысле его достоинство покоится на его принципиальной повторяемости. Это значит, однако, что опыт по самому своему существу снимает в себе и тем самым как бы стирает свою историю»¹⁶.

Гадамер, пытаясь включить историю в опыт, рассматривает опыт не со стороны объекта и его данности в опыте, но со стороны самого человека. Испытующее сознание должно обратиться к самому себе. «Испытующий осознал свой опыт — он стал опытным, то есть обрел новый горизонт, в границах которого нечто может сделаться для него опытом...»¹⁷ «Диалектика опыта получает свое полное завершение не в каком-то итоговом знании, но в той открытости для опыта, которая возникает благодаря самому опыту... Опыт означает здесь нечто такое, что относится к исторической сущности человека»¹⁸.

«Подлинный опыт есть тот, в котором человек осознает свою конечность», а значит, и историчность. «Подлинный опыт есть, таким образом, опыт собственно историчности»¹⁹.

Если естественнонаучный опыт имеет дело с данным и стремится освободиться от предания (предрассудков, авторитетов, традиций и т. д.), то «герменевтический опыт имеет дело с преданием»²⁰. Понимание — главная движущая энергия этого опыта. Понимание не метод, но свершение, благодаря пониманию само предание изменяется, становится исторически подвижным. «Герменевтическое сознание обретает завершенность не в методологической самоуверенности, но в готовности к опыту, сходной с той, которая отличает опытного человека от человека догматически предвзятого»²¹. Понимание предполагает дистанцирование от предания (но не в форме разделения на объект и субъект), такое дистанцирование возможно только через опосредование предания и понимающего текстом, языком.

Таким образом, Гадамер вычленяет совершенно особый опыт — опыт исторический, герменевтический, абсолютно противопоставляя его методу (опыту естественных наук). Но такой опыт также является способом достижения истины, или, точнее, способом ее самопроявления. По сравнению с Бахтиным, Гадамер не разводит науку и историю, но, напротив, стремится ввести историю через герменевтический опыт в науку. Однако образы историчности у Гадамера и Бахтина различны. Гадамер вслед за Хайдеггером связывает историчность с неоднородностью бытия. Неоднородность образуется особенностью способа бытия²². Но именно эта особенность как культурно-значимое индивидуальное своеобразие глу-

боко осмыслена Бахтиным. У Гадамера особенность способа бытия сведена к осознанию человеком конечности своего опыта и своего бытия. Для фиксации конечности Гадамер обращается к представленности предания в тексте, как показателю его завершенности, конечности. Однако эта граница опыта оказывается культурно-бесцветной, лишь количественно, а не качественно определяемой. Отсюда и отсутствие у Гадамера интереса к области стиля. Стиль признается Гадамером как существенно причастный историческому сознанию, но связывается скорее с его формально-нормативным и прикладным измерениями. Отсутствие живого диалога (диалог у Гадамера всегда есть вопрошание предания) снимает проблему конкретно-индивидуальной, культурной явленности человека (что невозможно без стиля) в исторической действительности.

Вместе с тем произведенное Гадамером разделение сфер методического и неметодического познания, обрисовка поля понимания в науке получили развитие в том числе в исследованиях естественно-научного знания. В работах историков и социологов науки структура естественнонаучного знания также стала представляться как многослойная (метод и парадигма, метод и тема, метод и предпосылочное знание, метод и личностное знание и т. д.), не сводимая только к научному методу. Стало даже модным показывать, «насколько мало в науке метода»²³. Крайнее выражение этот подход получил в работах П. Фейерабенда, в которых проблема истины и метода получила перевернутое отражение. Наука, в том числе и естествознание, как пытается показать Фейерабенд, настолько не методична, что просто вызывает удивление, что она вообще может претендовать на истину. Строгость и методичность науки, гарантирующие получение научной истины,— не более чем опасный миф, воспроизводимый и поддерживаемый научной идеологией. Мы далее покажем, что Фейерабенд наиболее ярко раскрыл реальную историчность науки, но впал в другую крайность: историчность и метод для него оказываются несовместимыми. Но, в отличие от Гадамера, Фейерабенд историчность объявляет несовместимой с научностью, с получением истины.

На наш взгляд, важно не только отличать разные образы науки (и метода), но и выявлять разные образы истории. Сами типы историзма, представленные в сознании, могут быть очень разными²⁴. Мы воспользуемся традиционно сложившимся членением истории на «вертикальную» и «горизонтальную». Вертикальная история предопределяется причинами надвременными — божественным промыслом, позднее архетипами, прафеноменами и т. д. Горизонтальная история — это временной поток реально сменяющих друг друга событий. В средневековые вертикальная и горизонтальная истории совпадали с историей соответственно «священ-

ной» и «профанной». К горизонтальной истории всецело нужно отнести историзм Хайдеггера. Учение об «историчности» экзистенции в учении Хайдеггера связано с анализом «временности». История как непрерывный переход от прошлого к будущему является миром событий, а не налично данного²⁵. Сегодня членение истории на «вертикальную» и «горизонтальную» находит отголоски в выделении нормативной и ситуативной истории, в том числе и истории науки.

Наука фактически унаследовала от средневековья связь с вертикальной, надвременной историей. Понятие законов природы в науке Нового времени трактовалось в духе надвременного универсализма. В этом она шла вслед за рационалистической философией истории, которая сосредоточилась на обнаружении в историческом прошлом общего, универсальных регулярностей. Поиск в истории общезначимого, надвременного явно тормозил процесс складывания понятия анахронизма.

Сложность становления науки заключалась в том, что сам ученый с его опытом помещен в горизонтальной истории, а поэтому надо было найти способ подняться над собственной природой, найти особые «светоносные опыты», в которых бы проявлялись всеобщие надвременные законы. Отсюда ориентация методологии науки на разрыв с горизонтальной историей, но не с историей вообще. Ученый действительно не может не конструировать свой собственный исторический мир. В этом отношении весьма последователен был Гуссерль, считавший, что жизненный мир, к которому должна вернуться наука,— это все-таки не действительный исторический мир, но мир сконструированный средствами науки, но на более широком историческом основании.

Существовавший разрыв вертикальной и горизонтальной истории в бытии науки также делал ненужным феномен стиля. И. Хейзинга показал, что значение стиля проявляется только в точках, эпохах перехода, взаимоприкосновения горизонтального и вертикального измерений истории. Вертикальные структуры в таком переворачивании обнаруживают свою неоднородность, многомерность, многоярусность, а горизонтальные подчас скрывают за течучестью времени личностную различимость происходящего. Понятием игры, включающей многоцветье стилевых форм, обозначен у И. Хейзинги тот срединный слой, который связывает вертикальный и горизонтальный срезы истории. «...Хейзинговское понятие игры,— как отмечает А. В. Михайлов,— было действительной находкой: этим понятием был обозначен тот мировой слой, в котором происходит встреча, столкновение, наконец, переворачивание и взаимопревращение противоположных начал, в котором происходят самые напряженные экзистенциальные процессы жизни и в котором осмыслиются и борются между собой ценности разного

порядка»²⁶. Аналогичную функцию выполняло у Бахтина понятие смеховой культуры.

Следовательно, сама историчность многопланова, многомодельна и неоднородна, и не любой образ истории включает необходимость стиля. Наиболее полное, объемное, неоднородное пространство исторического нуждается в стиле. Какое же отношение имеет современная наука к так понимаемой историчности? На наш взгляд, есть все основания предполагать, что современная наука как бы входит в новые срединные пласты культуры, приближаясь к соединению вертикального и горизонтального измерений истории. Характерны в этом отношении трансформации, которые претерпевают естественные науки в различных своих областях. Наиболее репрезентативна в этом отношении такая родившаяся в течение нескольких последних десятилетий новая научная дисциплина, как синергетика.

Физика долгое время идентифицировала себя с вневременной историей: с точки зрения традиционной физики «даже прогрессирующее старение Земли является лишь видимостью, связанной с нашими приблизительными представлениями. По ту сторону феноменального мира следует искать вневременную по сути истину, отрицающую как необратимость, так и событийность»²⁷. Сегодня же «необратимость и событийность более не являются для физиков некой случайностью, которую законы физики позволяют преодолеть. Они отражают существенные характеристики мира, и мы лишь начинаем понимать вопросы, обращенные к нему»²⁸. «Может показаться странным,— пишет И. Пригожин,— что развитие физики, которое привело Канта к заключению, что ученый должен не «учиться» у природы, а обращаться с ней в качестве судьи, заранее знающего, как она должна отвечать и каким принципам она подчиняется, ныне может привести нас к противоположным заключениям, а именно к невозможности априорного суждения о том, чем является рациональное описание ситуации, к необходимости учиться у ситуации тому, как мы можем ее описать. Все же это последствие не движения физики вспять, а ее прогресса. Лишь в той степени, в какой современная физика способна построить удовлетворительное описание становления материи не низводя его к кажимости, она обнаруживает открытый мир, разнообразие которого не способна устранить никакая единая рациональная схема. Физика сегодня более не является наукой о бесконечной Вселенной, замкнутой, однако, и в своих проявлениях, и в способах, которыми возможно ее познать. Она открыта миру, характеризующемуся возникновением нового»²⁹.

В физике и особенно в синергетике происходит как бы возвращение научного знания в горизонтальную, событийную историю. Не только направленность, но и неоднородность времени стано-

вятся полноправными проблемами физического видения мира. Физика «наконец-то освободилась от тесной связи... с вневременными «конечными причинами», которые должны были бы объяснить мир. Преобразование физики... выдает глубоко исторический характер этой науки»³⁰.

На фоне преобразований, происходящих в современном естествознании, возникает потребность по-новому осмыслить все ту же проблему: истина и метод, метод и историзм. Трансформируется ли сам научный метод? Остается ли научный метод по-прежнему чужд новому историзму, а вместе с ним и стилевым размерностям истории? Приводит ли становление нового историзма к обесцениванию роли метода и научности как таковой?

§ 2. Метод и стиль науки: на пути к инновационной технологии познания

Так на холсте каких-то соответствий вне протяжения жило лицо.

В. Хлебников

Преобразования, происходящие в современную эпоху в стиле научного мышления, становятся предметом пристального внимания. Болгарский философ С. Петров характеризует суть этих изменений как переход на новый уровень познания: от «мышления с первой производной» (тангенциальное мышление) к «мышлению со второй производной». В отличие от тангенциального мышления, мышление со второй производной характеризует «гибкость мышления в житейском смысле и недогматический, конкретный подход в идеологическом смысле; нелинейность рассмотрения, возникающую вследствие учитывания посторонних воздействий следствий на причины: неаддитивное и системное мышление... скрупулезное исследование всех изгибов течения рассматриваемого процесса; исследование во втором приближении, которое устраняет грубейшие идеализации; постоянная опосредованность заключений из данных посылок конкретными условиями их применения; выработка глубоких теорий, где рассматриваемое явление, которое дало начальный толчок мысли, входит как частный случай...; мышление в перспективе, с обдумыванием нескольких ходов вперед, т. е. далеких, многократно опосредованных следствий различных посылок и т. п.»³¹.

Н. Т. Абрамова видит суть основного переломного момента в развитии современной науки в переходе от фундаментализма к антифундаменталистскому стилю мышления. Г. Башляр, А. Моль и др. авторы говорят о смене картезианского стиля мышления

некартезианским, В. Ф. Лазарев — о формировании нового интервального стиля мышления.

Коренной сдвиг в стиле мышления и ситуация его перестройки в принципе должны приоткрыть фундаментальные основания стиля, возможности анализа которых, как правило, остаются весьма ограниченными в другие периоды развития науки. Вопрос состоит в том, каковы неустранимые причины, порождающие стиль и активизирующие потребность в стилеобразовании в современную эпоху. С этой целью мы рассмотрим трансформации, происходящие в стиле мышления, под углом зрения изменения характера взаимодействия между методом как научной технологией и стилем науки.

В современном научном исследовании, а также в философии науки происходит осознание недостижимости классического идеала метода как абсолютно объектной технологии познания, исключающей субъекта. В квантовой механике обнаружение реальной альтернативности экспериментальных ситуаций и невозможности их интеграции классическим образом (через выявление общего интегрирующего инварианта в рамках самого эксперимента) заставило физиков обратиться к анализу субъектных оснований эксперимента. «В области применимости классической физики,— писал Н. Бор,— все стороны и свойства данного объекта могут быть в принципе обнаружены при помощи одной экспериментальной установки... В самом деле, полученные таким путем данные просто складываются и могут быть скомбинированы в одну связную картину поведения изучаемого объекта. Напротив, в квантовой физике данные об атомных объектах, полученные при помощи разных экспериментальных установок, находятся в своеобразном дополнительном отношении друг к другу... следует признать, что такого рода данные, хотя и кажутся противоречащими друг другу при попытке скомбинировать их в одну картину, на самом деле исчерпывают все, что мы можем узнать о предмете»³². «...Данные, полученные при разных условиях опыта, не могут быть охвачены одной-единственной картиной»³³. «...Изучение дополнительных явлений требует взаимно исключающих экспериментальных установок»³⁴.

Именно у Н. Бора переосмысление проблем научной технологии познания стало причиной введения понятия стиля мышления. Основная мысль Н. Бора заключалась в том, что современная физика не ставит под сомнение объективность как необходимую характеристику познания, а также возможность адекватного эксперимента, но требует осознанного выявления роли субъекта в познании. Фактически Н. Бор делает вывод о постоянной организационной связи метода (экспериментирование) и стиля мышления (категориальных, логических, субъектных предпосылок познания), об открытости эксперимента для постоянного активного участия

субъекта. Бор выявил и другой интересный феномен: он обнаружил предел применимости **натурного** эксперимента в квантовой физике. Он неоднократно указывал, что особенности квантовых явлений таковы, что в принципе требуют не просто нескольких разных экспериментов, но как бы постоянно изменяющейся экспериментальной установки. «Классическая физика подразумевает возможность неограниченно подразделять и детализировать события, тогда как в случае квантовых явлений эта возможность принципиально исключается в силу требования конкретно указывать экспериментальные условия. В самом деле, типичная для собственно квантовых явлений черта цельности находит свое логическое выражение в том обстоятельстве, что всякая попытка определенным образом подразделить данное явление потребовала бы изменения в экспериментальной установке...»³⁵ Такие характеристики квантовых объектов, как целостность, индивидуальность, однозначная нелокализуемость, принципиальная незамкнутость, означают, что эти объекты практически не могут быть познаны в классическом натурном эксперименте, одним из главных принципов которого является требование: в природе одинаковые явления должны наступать при одинаковых условиях, а следовательно, при неизменной экспериментальной установке.

Эта проблема, по мнению Н. Бора, возникает и в процессе познания биологических, социальных и психических явлений, где она выступает еще более резко. Применяя к познанию живого объекта классический натурный эксперимент, мы должны выполнить прежде всего требования его локализации, прекратить постоянно идущие в нем процессы, что несомненно означает: убить живое и исключить возможность его познания именно как живого. Эрика Хикель придает рассмотрению вопроса об ограниченности натурного эксперимента более глобальный ракурс, отмечая возможность катастрофических последствий дальнейшего использования классической бэконовской стратегии испытания (эксперимента), «усмирения» природы. В современном натурном эксперименте человек может вызвать такие эффекты природы, которые в конечном счете поставят предел существованию не только объекта, но и субъекта³⁶.

Парадоксальность заключается еще и в том, что если идти по пути постоянного изменения не природы, а самого эксперимента, то мы также окажемся перед радикальной невозможностью познания объекта, так как необходимо будет учитывать все новые и новые факторы, порождаемые изменением экспериментальной установки. Изменение экспериментальной ситуации сопровождалось бы появлением новых индивидуальных процессов, вызвало бы изменения, несовместимые с определением данного явления. То есть нет гарантии, что мы будем иметь дело с тем же самым

объектом, а не другим, не соблюдается условие повторяемости процессов, и нет средств идентификации объекта в постоянно меняющемся эксперименте.

Сущность возникающей антиномии заключается в следующем. Либо натурный эксперимент возможен, но тогда нужно отказаться от: а) адекватного познания объекта; б) существования объекта и субъекта классического типа; в) существования объекта и субъекта вообще в случае непредвиденного катаклизма. Либо надо отказаться от натурального эксперимента, но вместе с тем допустить возможность адекватного научного познания объекта.

С философской точки зрения антиномичность ситуации в методологии науки нашла выражение в таких крайних позициях, как позитивизм и различные формы иррационалистической философии. Это, с одной стороны, попытки найти адекватную универсальную технологию, соответствующую классическим идеалам, путем «очищения» опыта, поиска его оптимальной структуры; с другой стороны, это отказ от опыта или своеобразное расширение опыта, противопоставление его принципиальной одномерности и неполноты полноте и неисчерпаемому многообразию жизни.

Рассматривая основания научного знания, Н. А. Бердяев пришел к выводу, что наука опирается на ограниченный опыт. Критикуя эмпиризм как одно из самых могущественных направлений в теории знания, философ писал: «Опыт эмпириков подозрительно рационализирован, опыт этот тенденциозно конструирован и ограничен пределами, не самим опытом поставленными. Эмпирики слишком хорошо знают, что в опыте никогда не может быть дано; они слишком хорошо уверены, что чудесное никогда не было и не будет в опыте дано. Но откуда такая уверенность, из опыта ли она почерпнута? Опыт сам по себе, опыт, не конструированный рационально, опыт безграничный и безмерный не может ставить пределов и не может дать гарантий, что не произойдет чудо, т. е. то, что эмпирикам представляется выходящим за пределы их «опыта». Не рационализированный, первичный, живой опыт и есть сама безмерная и бесконечная жизнь до рационального распада — на субъект и объект»³⁷. У эмпириков «на живой опыт надет намордник и он укусит не может». Рационализм так же, как эмпиризм, имеет дело с рационализированным сознанием, сведенным к дискурсии. Научное познание не отвергается Бердяевым, однако признается ограниченным. «Научное знание, как и вера, есть проникновение в реальную действительность, но частную, ограниченную, оно созерцает с места, с которого не все видно и горизонты замкнуты... Религиозный гнозис лишь превращает частную научную истину в истину полную и цельную, в истину как путь жизни»³⁸. «Для познания научного я утверждаю прагматический позитивизм, для познания высшего — мистический реа-

лизм»³⁹ (следовательно, Бердяев находит выход из обозначенной антиномии в том, чтобы признать ограниченность классического научного опыта и вместе с этим признать ограниченность науки).

Но антиномия окажется разрешимой и в том случае, если в самой науке произойдет расширение границ и возможностей опыта как средства познания объекта, изменится тип опыта. В частности, на модельном уровне можно представить ситуацию, когда, например, мы будем иметь, с одной стороны, некий неклассический эксперимент, который мог бы напоминать процесс с постоянно меняющимися параметрами, установками, субъектными и объектными предпосылками (некий нелинейный, инновационный процесс) и в то же время допускающий как возможность адекватного познания объекта, так и его существование. В современной философской методологии науки, на наш взгляд, идет поиск модели именно такого научного метода, однако эта модель представляет собой пока лишь теневую сторону классической методологии, открываемую посредством ее критики, и нуждается, следовательно, в позитивной экспликации.

Основные усилия философии науки были направлены на то, чтобы показать, что классический идеал метода не соблюдался уже в самой классической науке, а тем более он не соблюдается в современном научном познании. В частности, наиболее активно исследовались различные формы включения субъекта и его установок (стиля мышления в том числе) в структуру метода.

Классический идеал науки основывался на принципе фундаментализма, представлении о базисной однородности, абсолютной объективной независимости фактов опыта от человека, от его субъектной активности. Основным в понимании действительности и структуры опыта было представление о линейном характере процессов, о функциональной повторяемости и несущественности параметра времени (истории, инноваций). Недостаточно обращают внимание на то, что такая модель опыта (метода) была связана и с аналогичными формами онтологической представленности субъекта. Идеализированные объекты мира опыта распространялись и на выработывавшиеся нормы представленности субъекта в опыте. Субъект должен был быть сведен к такой же модели абсолютно универсального, независимого от самой ситуации опыта, участника эксперимента. Сведение субъекта так же, как и объекта, к точке, практически не изменяющей действия законов, от которой можно изначально отвлечься при постановке и интерпретации эксперимента, являлось существенным допущением в доказательстве объективности результатов научного познания. Даже социально-этические требования к организации научной деятельности вырастали из этой модели опыта как абсолютного алгоритма. Классический идеал научной деятельности включал та-

его существование. Особенно это важно при исследовании человека и человеческого общества. Только компьютерные эксперименты позволят отойти от экспериментирования на живых людях, заменить это цивилизованное варварство XX в. «машинными экспериментами»⁶⁰.

Компьютерный эксперимент совершенно по-новому в отличие от натурального и мысленного эксперимента включает активность субъекта познания. Характер закладываемой информации и получаемых моделей изначально тесно связан с осознанием целей человека и форм представленности субъекта в эксперименте. Не случайно развитие технологии компьютерного эксперимента тесно связано с активизацией гуманитарных исследований. Идет сложная работа по выявлению скрытых, тонких структур, обеспечивающих творческий характер поведения человека. Возрастает запрос на максимально конкретизированные модели человека. Тот или иной тип компьютерного эксперимента тесно связан с определенной моделью человека. Имитационный характер эксперимента касается не только имитации объекта, но и имитации человека. Успешность эксперимента зависит от того, насколько точно представлен сам человек. Компьютерный эксперимент, как никакой другой, нуждается в явном, осознанном, эксплицитном использовании различных проектных миров самого человека: от осознаваемо фиксируемых параметров человека в ходе диалога с компьютером до осознанного оперирования стилевыми состояниями субъекта, что фактически уподобляет работу ученого с компьютером работе хорошего актера. «...Человек ощущает себя действующим лицом в своеобразном имитационном мире»⁶¹. «...Суть математического эксперимента как нового способа анализа и использования нелинейных моделей в научно-познавательной деятельности определяется теми возможными мирами, в которые мы помещаем наши модели, тем, как в них представляется реальность»⁶².

Следовательно, компьютерный эксперимент принципиально нуждается в постоянно открытом, меняющемся, множественном, вариабельном мире субъекта, в постоянной саморефлексии субъекта над конкретными (а не только всеобщими) основаниями своего человеческого бытия. Пространство нового субъекта познания — это пространство постоянного осознанного стилевого самоопределения. Не случайно одним из основных типов компьютерного эксперимента являются компьютерные игры, в которых проигрываются ситуации с постоянно меняющимися «параметрами» как объекта, так и субъекта. Компьютерный эксперимент, изменяя объект и субъект в имитационном мире моделей, становится новым средством исследования не только природы, но и общества, социальных и даже духовных процессов. В перспективе компью-

кие нормы, как непредубежденность (снятие любых конкретных личностных рациональных предпосылок), незаинтересованность (исключение личной корысти, примат общих интересов), беспристрастность (исключение эмоций, всего того, что придает конкретную окраску субъекту), независимость, самокритичность, открытость (отсутствие любых научных секретов) и т. д. Мир субъекта точно так же, как и мир объекта, должен был быть лишен всех черт конкретности, индивидуальности, случайности, т. е. фактически любых проявлений историчности и существования во времени.

Обнаружение в квантовой физике индивидуальности, континуальности, вероятностного характера микрообъектов, эффекта участия субъекта как основного проводника нелинейности в структуру опыта, привело к настоящей революции в науке, методологические последствия которой до сих пор еще недостаточно философски осознаны.

Основной тезис фундаментализма о базисной однородности, абсолютной повторяемости экспериментальных явлений оказывается выполнимым только среднестатистически, и не всегда отклонением параметров можно пренебречь. И прежде всего от субъекта зависит как выбор базисных данных, так и соблюдение «чистоты» эксперимента. Еще академик И. Е. Тамм писал, анализируя творчество А. Эйнштейна: «Поучительно противопоставить ее (позицию Эйнштейна) широко распространенной точке зрения, согласно которой решению фундаментальных проблем науки необходимо должно предшествовать накопление огромного количества экспериментальных данных. В действительности пример как специальной, так, в особенности, общей теории относительности показывает, что решающую роль для построения фундаментальной теории играет глубокий логический анализ узловых опытных фактов. Конечно, следствия из теории должны быть проверены затем на максимально обширном опытном материале»⁴⁰. Следовательно, возникает проблема выделения доминантных, узловых фактов, решение которой существенно определяется исходными ориентациями самого субъекта. Как показано в работах Т. Куна и П. Фейерабенда, для субъектов, ориентирующихся на разные парадигмальные миры, и ключевые факты могут оказаться различными, и стиль в этом случае неустраим из процесса познания.

На материале исторической полемики по проблеме определения величины заряда электрона, проходившей на протяжении ряда лет, начиная с 1910 г., между двумя физиками Робертом Э. Милликеном и Феликсом Эренхафтом, Дж. Холтон показал неоднозначность структуры опыта, ее зависимость от выбираемых ученым начальных гипотез и предпосылок исследования. Э. Милликен руководствовался атомистической теорией строения веще-

ства, и это послужило неявным критерием отбора эмпирических фактов и их интерпретации. Милликен, измерявший заряд электрона при помощи метода пропускания масляных капель в электромагнитном поле, фактически учитывал не все наблюдения, но по тем или иным критериям отбрасывал неподходящие (слишком большая капля, недостаточное время прохождения капли, неравномерные капли, не то значение потенциала поля и т. д.). В результате Милликоном был определен элементарный электрический заряд и именно его результаты были признаны научным сообществом как успешные (Нобелевская премия).

Ф. Эренхафт, напротив, учитывал каждое экспериментальное наблюдение, что привело его к убеждению, что в самой природе (а не как следствие экспериментальной ошибки) существуют заряды меньшие, чем предполагаемый элементарный заряд электрона. Ф. Эренхафт, разделявший первоначально атомистическую концепцию, в результате эксперимента отказывается от этой установки и становится сторонником противоположной позиции, признающей континуальность природных процессов. Его результаты не были приняты научным сообществом.

Перед нами различные (реально осуществленные) структуры экспериментального процесса. Милликен действовал в соответствии с основной установкой классической науки: согласно принципу необходимой повторяемости и универсальной инвариантности событий самой природы (одинаковое значение заряда электрона должно неизменно воспроизводиться таковым и в эксперименте) все отклонения от большинства наблюдаемых приблизительно одинаковых значений относились Милликоном не к самой природе, а к погрешностям экспериментальной ситуации, от которых нужно отвлекаться. Ф. Эренхафт же относил все наблюдаемые им индивидуальные отклонения значений к проявлениям самой природы и не считал возможным их отбрасывать, т. е. он следовал в большей степени, чем Милликен, другому принципу классического идеала: в идеальной экспериментальной установке говорит сама природа. Очевидно, приняв свою экспериментальную установку за такую, погрешностями которой можно пренебречь, Эренхафт доверился природе, которая в свою очередь вдруг стала проявлять себя совершенно неклассически. Это и заставило ученого изменить свои исходные теоретические позиции.

Анализируя эту историческую ситуацию, Дж. Холтон приходит к выводу, что «...результаты Милликена и Эренхафта были весьма чувствительны к обработке полученных данных, и прежде всего к решению, какой аспект постановки эксперимента следует считать существенным или даже решающим, какие данные являются аномальными или подозрительными, и какие из них можно с разумным основанием отбросить. Как это обычно происходит

до включения результатов исследований в каноническое знание, отбор существенной части опыта из принципиально бесконечного материала направляется гипотезой, которая, в свою очередь, оправдывается в основном успехом в работе с этой существенной частью и основным предположением, помогающим сосредоточить наше внимание»⁴¹. Холтон показывает, что какими бы независимыми, повторяющимися и т. д. не представлялись данные опыта (т. е. какой бы идеально линейной структурой он ни наделялся), всегда есть факторы, исходящие от субъекта, которые включаются в структуру опыта и нарушают его идеально линейные параметры, придают ему нелинейный характер. Это направление философского анализа метода (в частности экспериментального) отражено в работах большинства представителей исторической школы философии и социологии науки.

Социологи науки (Б. Барне, М. Малкей, Х. М. Коллинз и др.) последние два десятилетия обратились к систематическому исследованию научной культуры. Введено понятие научной субкультуры (М. Малкей), которое играет существенную роль в интерпретации эксперимента. Х. М. Коллинз показал, что требование полной воспроизводимости научного эксперимента, как правило, невыполнимо, так как всегда эксперимент осуществляется в различных субкультурах⁴². М. Малкей, обобщая различные позиции, показывает, что в любом научном сообществе действуют различные, в том числе и противоположные классическим, установки на индивидуальный приоритет, засекречивание информации, научная и личностная пристрастность, несамокритичность и т. д.⁴³

Эти исследования обнаруживают нелинейный характер организации субъектной стороны деятельности, неискоренимость в науке и даже важность для успеха научной деятельности конкретных личностных размерностей субъекта. Изменчивость субкультур, постоянное нарушение процедур научной методологии и норм научного сообщества изменяющимися проявлениями субъекта познания — основной показатель нелинейности.

В крайних вариантах такого подхода делается вывод о несовместимости объективно истинного познания и реальных нелинейных структур научной деятельности, вывод о принципиальном крушении реализма и рационализма как мифов науки. Наиболее ярко идея исторической изменчивости метода, принципиальной нелинейности науки выражена в работах П. Фейерабенда. Наиболее существенны в этом отношении его выводы: а) об исторической изменчивости опыта и б) о поливариантности, нелинейности методологических процессов. П. Фейерабэнд, интерпретируя научную деятельность Галилея, постоянно подчеркивает, что Галилей действовал не в соответствии с требованиями научной методологии, но постоянно нарушая их. Галилей в буквальном смысле из-

менил опыт. Изменяя так называемые «естественные интерпретации» фактов, Галилей **преобразует опыт**. «Опыт теперь перестает быть тем неизменным фундаментом, на который опирались как здравый смысл, так и аристотелевская философия. Попытка поддержать Коперника делает опыт «изменчивым» точно так же, как делает изменчивыми небеса, где каждая звезда «блуждает сама по себе». Эмпирик, начинающий с опыта и безоглядно доверяющий ему, теперь теряет ту основу, на которую он привык опираться. Ни на Землю, «твердую устойчивую землю», ни на факты, на которые он обычно опирается, больше полагаться нельзя. Ясно, что философия, использующая такой текущий и изменчивый опыт, нуждается в новых методологических принципах, которые отказываются оценить теории посредством опыта... Однако **официальная** классическая физика все еще держится за идею устойчивого и неизменного базиса. Столкновение между этим учением и реальной научной практикой маскируется тенденциозным изложением **результатов** исследования, которые скрывают их революционное происхождение и внушают мысль о том, что они возникают из устойчивого и неизменного источника»⁴⁴.

«...Для объективного познания,— пишет П. Фейерабенд,— необходимо разнообразие мнений. И метод, поощряющий такое разнообразие, является единственным, совместимым с гуманистической позицией»⁴⁵. Существование одной-единственной методологии, как считает Фейерабенд, репрессивно. Он отказывается от линейного представления о разуме и рациональности. Наука — это не нечто непрерывно рациональное, «реальная наука является более «расплывчатой», «хаотичной», «иррациональной», чем она рисовалась согласно эталону классической рациональности. «Без хаоса нет познания. Без частого отказа от разума нет прогресса. Идеи, образующие ныне подлинный базис науки, существуют только потому, что живут еще предрассудки, самонадеянность, страсть... Нет ни одного правила, сохраняющего свое значение при всех обстоятельствах, и ни одного побуждения, к которому можно апеллировать всегда»⁴⁶.

Эти идеи П. Фейерабенда фактически подводят к пониманию природы научного метода как исторически изменчивой, вероятностной, нелинейной. Однако открываемая новая природа метода науки воспринимается самим Фейерабендом в конечном итоге как разрушение метода вообще, как необходимость отказа от идеи объективного опыта (поскольку весь опыт пронизан исторически изменчивыми субъективными параметрами), как необходимость отказать науке в привилегии получения истинного знания. Причиной высокой оценки обществом науки является, по Фейерабенду, «наша сказочка: если наука нашла метод, превращающий зараженные идеологией мысли в истинные и полезные

теории, то она действительно является не просто идеологией, а объективной мерой всех идеологий... Однако... эта сказка — ложь. Не существует особого метода, который гарантирует успех или делает его вероятным»⁴⁷. «Теоретический авторитет науки гораздо меньше, чем предполагают. С другой стороны, ее социальный авторитет в настоящее время стал настолько подавляющим, что **необходимо политическое вмешательство, для того чтобы восстановить гармоническое развитие**»⁴⁸. От одной крайности («в науке все дозволено») П. Фейерабенд переходит к другой — к выводу о необходимости поставить науку под жесткий политический контроль.

Представители исторической школы философии и социологии науки приходят в противоречие с требованиями истинности, объективности познания, так как неявно признают право на достижение истины только за опытом, построенным по типу классического идеала. Когда в реальных исследованиях науки обнаруживается совершенно иная картина опыта, они приходят к выводу о неправомерности притязаний науки на истину. Однако реальная наука действительно обнаруживает иной тип опыта — опыта как вероятностного, нелинейного процесса. Не учитывается, как правило, и то, что нелинейность присуща не только субъектным параметрам опыта, но и объективным его параметрам. Вероятность, прерывность, конструктивная случайность вносятся в опыт не только субъектом, но и самой объективной действительностью. Для Малкея, Холтона и особенно Фейерабенда опыт со стороны его объективных параметров остается тем же классическим опытом. События, включаемые в опыт, понимаются как абсолютно однообразные, как события, которые сами по себе «ничего не говорят». Разнообразие объективным событиям придается только субъектом, его интерпретационными способностями, языком, культурой.

Но объективные измерения опыта сами по себе изменчивы, нелинейны, индивидуальны, неоднородны. Так, при проведении геологоразведки с целью поиска тех или иных ресурсов сохраняется, например, официальное требование-инструкция (во многом соответствующее классическому идеалу метода), согласно которому вся территория разбивается по типу некоторой квадратной сетки и геологи должны методично исследовать один квадрат за другим, проводя систематические замеры (строго определенное их количество в каждом квадрате). Болото — не болото, есть золото — нет золота, раз есть стандартные требования, то копай, делай шурфы, чтобы замеры равномерно лежали на прямоугольной сетке. Однако в реальной практике замеры проводятся крайне нерегулярно, более того, опытные геологи определяют довольно быстро — где стоит делать замеры, а где нет. Значит ли это,

что они поступают совершенно нерационально, только руководствуясь своей интуицией, культурой или даже личными пристрастиями (побыстрее закончить работу) и т.д., а сама природа ни о чем «не говорит»? Конечно, большую роль играют личный опыт, интуиция и даже личные интересы, но они, как правило, связаны с умением учитывать ту объективную информацию, которая осталась бы незамеченной неспециалистами. Опытные геологи способны целостно учитывать наибольшее количество параметров среды и для них природа предстает не в виде безликих данных, но буквально каждый ландшафт воспринимается как уникальный, особенный. Именно индивидуальность, многокачественность природы, конкретного ландшафта позволяет в данном случае оптимизировать деятельность человека, ограничиться выборочным анализом местности и не прибегать к монотонному испытанию природы. Неразумным оказывается как раз следование классическим критериям рациональности.

Опыт Милликена также необходимо интерпретировать не только с субъективной, но и с объективной стороны. Как отмечает Холтон (не придавая этому большого значения в заключительной интерпретации), Милликен благодаря найденной им экспериментальной установке действительно как бы подкараулил природу именно там, где она давала необходимые ему результаты. Природа оказалась очень добра к Милликену. «Она оставила лишь весьма узкий интервал напряженностей поля, в пределах которого вообще возможны эксперименты, подобные этим. Необходимо, чтобы капельки были достаточно большими, чтобы можно было пренебречь броуновским движением, чтобы они были круглыми и однородными, легкими и неиспаряющимися, чтобы расстояние было достаточно большим для точного измерения времени, а поле — достаточно сильным для того, чтобы его действие на каплю, несущую всего один или два электрона, превысило тяготение. Вряд ли любое другое сочетание размеров, напряженностей поля и материалов могло привести к полученным результатам»⁴⁹. Милликену повезло — он открыл репрезентативный горизонт самой природы. Опыт в принципе не может охватить все события природы, но это очевидно и не нужно (как необязательно и неразумно для геолога делать замеры в каждой клетке территории), если учитывать, что в природе есть объективно выделенные репрезентативные состояния. Точно так же можно интерпретировать успех опытов Галилея (он ухватился за маятник и катящийся мяч, ставшие ключом к динамике); Ферми использовал медленные нейтроны (открытие которых также было случайным, счастливым попаданием); Эйнштейн — мысленный эксперимент со свободно падающим наблюдателем, замечающим кажущееся отсутствие гравитационных эффектов и т.д.⁵⁰

Следовательно, мы должны говорить как о нелинейности субъектной, так и о нелинейности объектной стороны опыта, о их конкретном наложении и взаимодействии в опытной ситуации. Структура опыта (метода), скорее, может быть понята и описана на основе законов устойчивого неравновесия, чем равновесия устойчивого.

Поиски новой оптимальной модели научного опыта (метода) в рамках научного реализма идут в направлении стратификации, дифференциации уровней научного познания и соответственно онтологии опыта. В работах Скривена, Хэнсона, Хессе, Харре и др. проводится дифференциация бытия и соответствующих типов научного знания в зависимости от степени проявления вероятности (или необходимости) существования, степени достоверности знания.

Ром Харре, развивая концепцию **референциального реализма**, различает три типа научных теорий, относящихся соответственно к наблюдаемому, непосредственно не наблюдаемому и вообще не наблюдаемому бытию. Им соответствуют три сферы онтологии дискурса: 1) объектов актуального опыта; 2) объектов возможного опыта и 3) объектов невозможного опыта⁵¹.

Рой Бхэскар ставит своей задачей объединить два направления в исследовании науки: культуррелятивистское и направление научного реализма в выдвигаемой им концепции науки, которую он обозначил как **трансцендентальный реализм**⁵². Основным недостатком позитивизма в трактовке опыта, как считает Бхэскар, является представление, что «закон проявляется везде и всюду». Но закон обладает изменчивым характером и может остаться вне данного конкретного опыта. Бытие асимметрично. Закон и события эксперимента могут быть независимы. Бытие имеет многоуровневый характер.

Когда делают вывод о полной сконструированности фактов, то, как правило, неявно предполагают некий замкнутый, уже свершившийся опыт. Однако опыт принципиально открыт. И как только мы допускаем открытый опыт, мы должны допустить и наличие универсальных объективных законов, действующих независимо от человека. Эти законы могут быть воспроизведены в знании только внеэмпирическими средствами. Большую роль в познании играют воображение и моделирование. Наука имеет как бы два относительно независимых измерения: есть научное знание, содержание которого не зависит от человека, и такое знание, которое зависит от человека. «Трансцендентальный реализм отличается от эмпирического реализма тем, что интерпретирует события скорее как устойчиво воспроизводимые экспериментальные результаты, чем как объективную повторяемость (объективный закон проявляет себя не в каждом опыте.— Л. А.); а от трансцен-

дентального идеализма отличается тем, что допускает, что все, что считается воображаемым, может обладать статусом не только воображаемого, но и реального. Без такой интерпретации невозможно объяснить рациональность научного роста и развития»⁵³.

Обоснование открытого характера опыта, опирающееся на представление о многослойной организации его объектной и субъектной сторон, в качестве основного выдвигает вопрос об условиях **успешности опыта**. Позитивизм не выявлял условия, в которых опыт, эксперимент становится значимым в науке⁵⁴, так как считалось, что в любом эксперименте объективная закономерность одинаково проявляет себя при соблюдении определенных условий. Обращение к проблеме **успешности опыта** заставляет ввести иную онтологию как объектной, так и субъектной сторон опыта. Эмпирический реализм отвечает только частному случаю, особому типу обстоятельств. Эти обстоятельства сводятся к следующему: замкнутость ситуации опыта; механическая концепция деятельности и модель человека, обращенного к ранее прошедшему (как пассивно воспринимающего только то, что уже случилось)⁵⁵.

Если подытожить позицию Бхэскара, то можно выделить следующие положения, особенно важные для нашего исследования: 1) представление об опыте как открытой системе, открытой как в направлении интенциональной бесконечности бытия и мира самого человека, так и в направлении включения времени. Опыт начинает пониматься как включающий параметры направленности времени (прошлое, настоящее, будущее); 2) проявляется потребность в более конкретной представленности человека, социокультурной онтологии в структуре познания, онтологизации глубинных структур человеческого сознания: воображения, предвидения, моделирования; 3) представление о неоднородности и неоднозначности опыта, о наличии в нем многих уровней, слоев, неоднозначно связанных друг с другом. Попытка поставить проблему успешности опыта, наличия в нем объективно выделенных доминант, значимых областей как характеристик его неоднородности.

В **репрезентативном реализме** Вартофского эти тенденции получили наиболее полное выражение. Историчность, изменчивость опыта рассматривается Вартофским уже не как симптом его разрушения, но как его неотъемлемая сущностная характеристика. Историчность опыта связана с включением в модель опыта пространства репрезентаций, которые сами по себе историчны, изменчивы. Способность к созданию репрезентаций, как считает Вартофский,—кардинальное свойство познавательной практики человека. В своей деятельности человек создает артефакты, куда Вартофский относит «все то, что создается людьми путем преобразования природы и самих себя. Сюда входят и формы социаль-

ной организации, и взаимодействия, и язык, и формы технологии, и навыки труда. Производство артефактов с целью их использования является одновременно и производством репрезентаций в том смысле, что артефакты не только находят свое применение в нашей деятельности, но и отражают, представляют, репрезентируют те формы деятельности, в которых они производятся или применяются»⁵⁶.

Когнитивные артефакты — это модели. Любая репрезентация представляет одновременно как объект, так и мир субъекта. «Каждая научно-теоретическая модель в той же степени является «самоконцепцией» ее творцов, в какой она является концепцией моделируемого ею мира. В той мере, в какой в модели представлен мир таким, каким он является (или кажется) познающему субъекту, в ней также содержится своеобразный «портрет», характер, система убеждений этого субъекта»⁵⁷. И, наконец, следующий важный пункт концепции Вартофского заключается в признании любых моделей (репрезентаций) «полноценными гражданами» мира реальных объектов и процессов»⁵⁸, т.е. в признании особой онтологии мира модельных отношений, в которые может вступать любое явление.

Основная слабость различных форм реализма заключается, однако, в том, что обрисовываемая здесь новая модель опыта не находит аналогий в случае приложения ее к различным формам **натурного** эксперимента. Пределы выполнимости натурного эксперимента, выявленные Бором, еще более ограничиваются, как только возможность познания объекта тесно увязывается с необходимостью самоизменения субъекта. Субъект объективно в реальной действительности не может производить над собой тех преобразований, которые необходимы для познания объекта в целом ряде ситуаций (например, из макротела превратиться в микротело, стать наблюдателем, реально движущимся со скоростью света, поместить себя в любую точку Вселенной, войти внутрь сознания другого человека, стать невидимым и т.д.). Эти преобразования происходят только в мысленном эксперименте. Можно легко заметить, что различные формы реализма неявно эволюционируют в зависимости от того, насколько они отходят от описания характеристик натурного эксперимента и переходят к описанию характеристик мысленного эксперимента. Эта эволюция оказывается связанной с неизбежным отходом от реализма в сторону нарастания культуррелятивизма.

Мы возвратились фактически в исходную точку начальной антиномии: попытка смоделировать новый тип научного метода (опыта, эксперимента) как открытого, нелинейного процесса, необходимо связанного с субъектными параметрами (многомерного субъекта, вероятностными мирами сознания, многообразными

формами реальной представленности), оборачивается утратой возможности адекватного познания объекта (отсутствием гарантий такого познания). Более того, такой эксперимент оказывается осуществимым в целом ряде случаев только как мысленный эксперимент. С одной стороны, обнаруживается важность стиля в структуре научного метода (стиль как параметр неоднородности, уникальности опыта), а с другой стороны, кардинальные пределы стиливых модификаций реального человека.

Представляется, что своего рода тупик, в который зашли философские дискуссии о научном методе, говорит не о конце самой научной методологии, но о том, что философскими средствами пока не удавалось открыть образцы реально становящейся новой методологии научного познания.

Классические типы эксперимента «не срабатывают» в областях, где субъект не может вступать во взаимодействие с объектом либо потому, что это взаимодействие невозможно, либо потому, что оно вело бы к необратимым изменениям в объекте или в субъекте. Однако современная наука уже порождает такие исследовательские технологии, которые помогают преодолеть сложность возникающих ситуаций. На наш взгляд, реальным образцом такой новой становящейся методологии научного познания является **математический** или **компьютерный** эксперимент. В отличие от натурального эксперимента (хотя компьютерный эксперимент и связан с последним), в компьютерном эксперименте нет принципиальных границ (пока границы связаны с нерешенностью ряда технических проблем) для исследования нелинейных, индивидуальных, случайных процессов самой действительности. Анализ многофакторных ситуаций при помощи нелинейных моделей становится по-настоящему возможным только в компьютерном эксперименте. Средства эксперимента не задают заранее абсолютно замкнутое пространство опыта (границы определяются только постоянно расширяющимися возможностями программирования), но как бы открывают действительности окно для проявления себя в многомерных, нелинейных состояниях. Компьютерный эксперимент, основываясь на принципе имитации, позволяет получать информацию об изучаемом объекте, не изменяя его реально. Компьютерный эксперимент воздействует не на реальный объект, а на его **информационную модель**. «Работа человека с компьютером представляется как прямое воздействие на некий объект, информационно заданный машиной. Объект исследования высвечивается на дисплее, а системно организованная информация подается либо в графической, либо в структурно-текстовой форме»⁵⁹. Следовательно, снимаются пределы, свойственные натурному эксперименту, связанные с возможностью внесения в объект таких изменений, которые либо искажают его природу, либо могут прекратить

терный эксперимент станет средством осуществления междисциплинарного синтеза. «...Проблемы общественные,— пишет академик Н. Н. Моисеев,— оказались значительно более сложными, чем мы предвидели, причем машинный эксперимент здесь оказался особенно необходимым. Он превратился чуть ли не в основное средство анализа, поскольку ни о каком натурном эксперименте с экономикой и другими общественными явлениями и речи быть не могло»⁶³.

Компьютерный эксперимент оказывается принципиально открытым, так как изначально включает диалоговые структуры, допускающие различные типы диалогов и диалоговых режимов. Признанным фактом практики компьютерного эксперимента является невозможность абсолютной алгоритмизируемости деятельности. «Я думаю,— пишет академик Н. Н. Моисеев,— что нашим важным завоеванием был отказ от попыток «глобальной формализации» и переход к системе диалога, который позволяет объединить неформальное и формальное мышление»⁶⁴. «В распоряжении вычислителя всегда должна остаться возможность на любом этапе счета вмешаться в процедуру вычислений»⁶⁵. Интуиция, внезапное озарение, «чудо», творческие проявления субъекта как живого, действительного человека, становятся не помехой, но необходимым условием успешности эксперимента.

По сравнению с традиционным мысленным (или модельным) экспериментом, компьютерный эксперимент отличается еще одной особенностью. Благодаря осознанному использованию стиливых характеристик субъекта, открываются новые, более эффективные способы трансляции знаний от одного субъекта к другому. В мысленном эксперименте моделирование ситуаций, недоступных в реальности, достигалось благодаря случайному, как правило, неосознаваемому открытию уникальной субъектной духовной ситуации, уникальному индивидуальному опыту, особенности стиля мышления. Однако именно эта уникальность и составляла основную трудность при трансляции полученных результатов.

Никто во времена Галилея не мог реально выйти за пределы атмосферы Земли и посмотреть на Землю со стороны, из космоса. Для нас и сегодня остается во многом загадкой то, каким образом Галилей смог занять такую уникальную позицию, открывшую ему, как и Копернику, возможность иного видения мира. Но гораздо более сложной была другая задача, стоявшая перед Галилеем — задача трансляции, передачи знаний, полученных в мысленном эксперименте, своим современникам. Для Галилея новая картина мира была, несомненно, столь же визуально яркой, как и повседневно наблюдаемый нами мир, но, чтобы и для современников этот новый мир превратился из невидимого в визуально действительный, Галилею потребовалось приложить огромные

усилия. Поэтому, когда П. Фейерабенд пишет, что «Галилей победил благодаря своему **стилю** (выделено нами.— Л. А.) и блестящей технике убеждения, благодаря тому, что писал по-итальянски, а не на латинском языке, а также благодаря тому, что обращался к людям, пылко протестующим против старых идей и связанных с ними канонов обучения»⁶⁶, то он прав, так как в условиях возрастания модельного компонента опыта наибольшая из возникавших трудностей — это трудность трансляции знаний. И стилевые компоненты науки — это отнюдь не то, что отрицает рациональность, но, напротив, рациональность науки, очевидно, была бы немислимой (непредставимой), если бы знания не доходили до конкретного человека, не соединялись с конкретным, в том числе стилистически определенным способом его бытия.

Успех Галилея обусловлен еще и тем, что он использовал для трансляции знаний модельную ситуацию, связанную не только с объектом, но и с субъектом. Наиболее распространенный модельный образ, который использовался Галилеем при доказательстве вращения Земли, — это сравнение Земли с кораблем. В данном случае была важна не сама по себе аналогия с объективными процессами, происходящими на корабле (как отмечает П. Фейерабенд, описываемые Галилеем эксперименты на корабле, очевидно, реально даже никогда не проводились), но позиция субъекта как человека, плывущего на корабле, субъективные восприятия своего положения, которые были доступны в то время уже многим, оказались очень существенными. Именно эта модель субъекта послужила основой успешной трансляции знаний. Убеждение в объективности предметного знания оказывается достижимым лишь тогда, когда найдена объективная позиция субъекта. И в этом смысле понятие объективности знания не исключает конкретной субъективности как объективной культурно-исторической формы бытия человека (стиля) или инновационного топоса науки (как порождающего творческого пространства), в который втянуты как субъект, так и объект.

Аналогичные проблемы до сих пор встают при трансляции мира Эйнштейна. Во многом мир Эйнштейна остается уникальным и транслируется с трудом. Интересные, хотя во многом не бесспорные результаты получил К. Кедров, проанализировавший различные визуальные миры, создаваемые художественными и научными средствами⁶⁷. Он приходит к выводу, что различные писатели, поэты воссоздавали или под влиянием работ Эйнштейна или независимо от них «странные миры», совершенно не совпадавшие с обыденным взглядом на вещи, но одновременно удивительно похожие на мир Эйнштейна.

Художественное зрение Андрея Белого, Велемира Хлебникова, Омара Хайяма как бы рвется к иной реальности. «Андрей Белый

дарит нам новое, более тонкое видение пространства и времени, максимально приближенное к вселенной Эйнштейна»⁶⁸. Эйнштейн считал, что «человеческий разум не способен воспринимать четыре измерения»⁶⁹. Однако, как считает К. Кедров, еще до выхода в свет специальной теории относительности В. Хлебников создавал свою четырехмерную поэтику, полностью подчиненную задаче открыть четырехмерное зрение: «Люди! Мозг людей и донныне скачет на трех ногах (три оси пространства). Мы приклеиваем, воздвигая мозг человечества, этому щенку четвертую лапу — время»⁷⁰. «Литература не мирится с ограниченностью наших органов чувств. Она создает свои модели мироздания, видимые, слышимые и воспринимаемые человеком, безгранично расширяющие пределы его восприятия»⁷¹. Кедров видит преодоление трудностей визуализации научной картины мира на пути соединения науки с художественным словом, с опытом искусства. Но наука всегда опиралась на искусство и другие сферы человеческой культуры. В этом взаимодействии и заключается один из основных источников формирования научного стиля мышления. Если на протяжении истории науки это взаимодействие осуществлялось как подспудная, неосознаваемая работа, то сегодня человек приходит к необходимости активно, осознанно использовать не только имеющиеся в культуре модельные миры, но и создавать их, постоянно вносить инновации в свое бытие (в имитационном мире) и в бытие объекта (информационную модель). Это необходимо потому, что возрастает потребность в визуализации, обобщении и трансляции самых различных, кажущихся подчас невероятными, человеческих миров, субъектных видений мира. Позиция любого конкретного человека приобретает познавательную ценность, ее утрата может обернуться невозвратимостью возможностей открытия нового, утратой уникальных горизонтов мира.

Но именно такую функцию все больше берет на себя компьютерный эксперимент, который обладает удивительными возможностями визуализации, воспроизведения конкретности того или иного явления по его даже немногочисленным параметрам. У нас в стране коллективом под руководством А. А. Мигдала создана программа Геоформа. На ее основе был проведен анализ геохимических полей. «В результате геохимии увидели на цветном экране поверхности содержания золота, меди, вольфрама и других металлов и их ассоциаций. Специально созданная система быстрой машинной графики позволила создать реалистичные изображения исследуемых объектов с бликами, тенями, освещениями из различных источников и т. д. Эти поверхности можно поворачивать, рассматривать из различных точек в режиме реального времени»⁷². На основе той же программы оказалось возможным строить модели небесных тел. По известным параметрам было по-

лучено объемное изображение поверхности Фобоса. В буквальном смысле невидимое становится видимым.

К. Кедров замечает, что человек всегда обладал потребностью визуализировать те или иные свои представления. И это удавалось только тогда, когда одновременно визуализировались и представления человека о самом себе. Первоначально роль такого «экрана» визуализации играло звездное небо. «Все «лики» человека и мироздания можно увидеть в звездном сияющем облачении. Мир, который мы сегодня называем невидимым (мир мифа, сказки, фольклора.— Л. А.), был различим в ночном небе»⁷³. Затем такую роль стали выполнять язык, текст, слово; еще позднее, а может, и практически одновременно,— мир вещной культуры. И можно сказать, что сегодня звездное небо с его безграничностью и глубиной как бы возвращается к человеку не только через иллюминаторы космических аппаратов, но и через экран дисплея. Проблема наглядности заключается, на наш взгляд, не в том, что человек ограничен своим перцептивным пространством (наоборот, человек, вероятнее всего, безграничен), но просто в неразвитости средств визуальной трансляции знаний от одного человека к другому.

Таким образом, в науке идет становление новой нетрадиционной технологии познания. Основными чертами этой технологии в отличие от классической являются нелинейность, открытость, инновационный характер. Возникает новый тип включенности субъекта и объекта в технологию (как конкретно-исторически многомерных). Стилиевые измерения субъекта являются в такой технологии не помехой, но необходимым условием адекватности познания объекту и возможности его трансляции другому субъекту. Наука — на пути к новой инновационной технологии познания.

§ 3. Целенаправленное стилеобразование как фактор перестройки управления наукой

...Личность, следующая исключительно внушениям авторитета, может действовать лишь в той обстановке, которую предугадал ей этот авторитет. Но вечно живая жизнь требует создания новых форм жизни...

П. П. Блонский

В перестройке общественных отношений в нашем обществе главной задачей является дальнейшее развитие демократии. Существенно перестраивается система управления обществом и наукой в направлении дальнейшей демократизации, фактически впервые обращается внимание на важность осознанного, целена-

правленного формирования стиля работы, стиля мышления и на его основе выработки нового мышления в целом.

В литературе, посвященной теоретическим вопросам управления, проблема стиля управления только начинает разрабатываться. Большей частью анализируется стиль руководства, в меньшей степени стиль как необходимый элемент управления вообще, управления как самоуправления⁷³. Обсуждается проблема стиля в работах, обращающихся к раскрытию сущности и причин бюрократии⁷⁴, активно исследуется стиль работы руководителя⁷⁵.

В указанных работах стиль управления еще не получил своего теоретического определения. Как правило, он либо все еще недостаточно четко отличается от методов руководства (так, в книге «Стиль и методы руководства» читаем: «Совокупность наиболее характерных и устойчивых методов решения типовых задач и проблем, возникающих в процессе реализации функций руководства, называют стилем руководителя. Стиль — это система постоянно применяемых методов руководства»⁷⁶; либо раскрывается через перечисление отдельных признаков поведения (так, в книге «Стиль работы и образ жизни руководителя» выделено 15 признаков, характеризующих стиль руководства⁷⁷. Вместе с тем появляются работы, в которых указывается на важность различать стиль и методы руководства. О. М. Омаров выделяет в стиле такую его определяющую черту, как побуждение к инициативе и творчеству, а в методах — обеспечение координации действий в процессе управления⁷⁸; подчеркивается, что метод более инвариантен и объективен, обусловлен достигнутым уровнем и потребностями развития экономики, а стиль, хотя в своей основе также объективен, но опосредуется индивидуальными свойствами руководящего лица. «Методы и стиль можно сравнить с нотами и манерой исполнения музыкального произведения: ноты одни для всех, но каждый исполнитель трактует произведение по-своему»⁷⁹. Выделяются, как правило, три основных стиля руководства в зависимости от характера отношений между руководителем и подчиненным: директивный, демократический и либеральный.

На смену представлению о несущественности стиля, незначительной его роли в управлении приходит убеждение в его значимости. Так, А. М. Омаров пишет: «...стиль работы — это далеко не только личное дело руководителя, поскольку он так или иначе сказывается на всех сторонах деятельности системы... представляет собой социальное явление, ибо, во-первых, в нем отражаются мировоззрение и убеждение руководителя, и, во-вторых, он во многом предопределяет конечные результаты функционирования системы»⁸⁰. В ходе исследования, проведенного немецкими социологами, было выявлено, что имеется тенденция к заниженной оценке роли стиля руководства со стороны руководителей и в то же

время довольно четко проявляющиеся оценки высокой значимости стиля руководителя со стороны подчиненных. «Свой стиль работы руководители (№≡1000 чел.) оценивают по-разному. Результаты опроса (предложен был вопрос: «Является ли мой собственный, подчас неправильный, стиль работы причиной большой загруженности?») дали следующую картину: 8 % опрошенных считали этот фактор очень важным; 18 % заявили, что их собственный ошибочный стиль работы имеет важное значение; 42 % выразили мнение, что это имеет лишь частичное значение для их деятельности, и 32 % заявили, что недостатки в стиле их работы не имеют никакого значения. При оценке результатов опроса необходимо учитывать не критическое отношение части опрошенных к оценке стиля своей работы»⁸¹. При ответе на вопрос, какое воздействие оказывает стиль руководства вышестоящих руководителей на поведение подчиненных, выделялись следующие мнения: стиль руководителя влияет на личные отношения между руководителем и подчиненными, на убежденность подчиненного в справедливом моральном стимулировании и уверенность в справедливой оплате труда. Руководитель влияет своим поведением на широкую гамму проявлений трудовой активности. Это находит выражение в том, что работники, неудовлетворенные стилем руководства, повышение своей активности ставят в зависимость от «поддержки в работе» со стороны вышестоящего руководителя и в равной степени также от устранения трений в работе. Было также доказано, что хороший стиль руководства предоставляет больше возможностей претворить в жизнь свои идеи и представления с помощью коллектива. Это подтверждается также статистическими данными, характеризующими связь между желанием иметь более широкий оперативный простор и удовлетворенностью стилем руководства. Плохой или кажущийся плохим стиль руководства вышестоящего руководителя вызывает ведущие к пассивности отрицательные чувства. Так, чувство удовлетворения, которое вызывает работа, положительно связано с удовлетворенностью стилем руководства вышестоящего руководителя. Положительный образ действий в процессе руководства (вовлечение в процесс поиска решений, информирование подчиненных) соотносится с выраженным желанием сделать полезную работу для общества⁸². Остается распространенным представление, что стиль в отличие от метода формируется стихийно, что его формирование не может сознательно регулироваться и направляться. Это подчас и является основным источником недооценки стиля деятельности. Постараемся подвергнуть сомнению это представление, показав роль осознанного стилеобразования в преодолении бюрократизации управления, в том числе в научной деятельности, в решении проблем научно-технического прогресса.

В отдельных газетных материалах и в разного рода публикациях можно встретить выражения: «бюрократический стиль», «стиль бюрократа» и т. д. Представляется, что эти выражения не точны, так как понятие «стиль» приложимо только к субъектно организованным процессам, а не к объективно предзаданно функционирующим системам. Например, очевидна абсурдность применения понятия стиля к характеристике работы машины или системы машин: «стиль машины». Вместе с тем двойственность природы бюрократии порождает основание и для применения понятия «стиль», но смысл этого понятия будет иной, здесь мы имеем дело с превращенными формами стиля, с его деформацией. Чтобы это обосновать, обратимся к анализу сущности бюрократизации управленческой деятельности. Бюрократизм в целом является как раз таким извращением целостной системы управления, при котором максимально редуцируется сфера стилеобразования, а сама деятельность управления вырождается в абсолютно замкнутую технологию управления. Немецкий социолог М. Вебер утверждал, что бюрократия — «естественная» и «необходимая» форма всякой социальной организации. Вкладывая в понятие бюрократии позитивное содержание, он полагал, что ей присущи безличность, рациональность, строжайшая регламентированность и ограниченность ответственности, составляющие «идеал любой организации»⁸³. Управление как любая деятельность предполагает формирование объективной технологии, рациональной, как бы не зависящей от конкретных индивидов алгоритмической связи всех звеньев и подсистем.

Главная суть бюрократизма не в рационализации или упорядочении управления, но в доведении до крайности, до абсурда наличных форм управления вплоть до превращения механизмов управления в объективированную систему, до предела отчужденную от субъектной, личностно-вариативной и ответственной стороны деятельности. Система управления начинает действовать как бы посредством индивидов, принимая на себя всю их личную первоначальную ответственность. Это объективированная функциональная система отчуждается не только от ее непосредственных проводников, но и от потребностей и нужд общества, конкретных людей, вступая в конечном счете в противоречие с ними. К. Маркс показал, что природа и содержание бюрократии обнаруживаются прежде всего в потере системой содержательной цели своей деятельности, в подчинении принципов и правил ее функционирования задачам сохранения и укрепления ее как таковой. Если бюрократизм и вырастает на основе упорядоченности, технократической организованности деятельности, то в этом случае сама эта технология оказывается самозамкнутой, лишенной подлинного человеческого смысла, а поэтому из рациональной превращается в

нечто бессмысленное и иррациональное, все больше и больше включая и приводя в действие механизмы внутреннего разложения рациональности деятельности, ее буквальной мистификации в целях внешнего оправдания (бюрократическая тайна, бюрократический символизм и т. д.).

В работах К. Маркса дан анализ такого самозамыкания и внутреннего выхолащивания технологии управления на примере бюрократии в ее «чистом» виде в рамках классово-антагонистического общества. «Бюрократия,— писал он,— должна... защищать **мнимую** всеобщность особого интереса, корпоративный дух, чтобы спасти **мнимую** особенность всеобщего интереса, свой собственный дух»⁸⁴. Именно этой двойственностью бюрократии обусловлено то, что, с одной стороны, бюрократия деформирует технологию, превращая ее в «мнимую всеобщность», в самозамкнутую технологию вообще, а с другой стороны, она вынужденно порождает многообразные деформированные формы стиля для оправдания своей «мнимой особенности», своей реальности и необходимости как таковой.

Бюрократия должна защищать всеобщий интерес, быть выразителем всеобщего, всеобщих форм организации деятельности в том числе — отсюда всеобщность и отлаженность механизмов управления; однако эта всеобщность оказывается мнимой, абстрактной, односторонней всеобщностью — лишь особым корпоративным интересом власть имущих. Отсюда нарастающая замкнутость и неизбежно наступающий разрыв с социальной действительностью, отчуждение от сферы общечеловеческого действительного смысла. При бюрократизации управления неизбежно происходит отрыв технологии от стилеобразования, редукция сферы стиля, так как стиль — это как раз то, что соединяет любую технологию с реальной действительностью.

В. П. Макаренко, проанализировав ранние произведения К. Маркса, последовательно показал, как происходит это самозамыкание технологии при бюрократизации системы управления. Бюрократическая система формирует свою «онтологию», картину действительности, которая отличается от подлинной действительности тем, что берет из нее только то, что соответствует «официальной точке зрения». Официальная точка зрения оказывает недоверие фактам, если они фиксируются гражданами, а не чиновниками. Интерес государства, официальная точка зрения преобладают в подходе к действительности. «...Положение вещей представляется лучшим или иным, чем оно есть в действительности»⁸⁵, это происходит не преднамеренно, а с неизбежностью. «Начальство все лучше знает». Вырабатываются специальные механизмы воспроизводства чиновников, их отчуждения от простых граждан. Чиновник по отношению к гражданам — это (с официальной точ-

ки зрения) абсолютный субъект, проводник высшей мудрости, «официальной точки зрения», воплощение «государственного разума». Точка зрения чиновника заведомо истинна, а точка зрения гражданина — это либо заблуждение, либо только частное мнение, не доходящее до высшей сути дела. Для отделения чиновника от «толпы» вырабатываются и особые механизмы административной материализации — его выделенности, особости. Возникает невежество самомнения или бюрократическое чванство — непоколебимая уверенность в своей должностной исключительности.

На основе все более обособляющейся от действительной жизни бюрократической технологии управления возникает и особое «чиновничье мышление». «Для чиновника,— пишет В. П. Макаренко,— всякое разнообразие и многообразие точек зрения на действительность **недопустимо**, поскольку оно противоречит сути его деятельности и разрушает структуру его мышления. Чиновник знает и воспроизводит в своих действиях только одну официальную точку зрения. Эта точка зрения к тому же «материализована» не только в понятиях и суждениях, но и в административных и политических структурах и процессах государства, в системе сбора социальной информации и социальных знаний... «весомая, грубая, зримая» материализация точки зрения для чиновника является наиболее важным аргументом ее истинности... все иные, кроме официальной, точки зрения осознаются и квалифицируются как бессильные, неистинные и аморальные»⁸⁷. Происходит, заключает В. П. Макаренко, «редукция реальной сложности мира», а также, добавим, редукция многообразия субъектных оснований деятельности, отчуждение от творчества широких народных масс, а следовательно, сужается и сфера стилеобразования.

Распадение в бюрократической деятельности технологии и стиля было раскрыто К. Марксом в работе «Заметки о новой прусской цензурной инструкции». Здесь К. Маркс показывает, что подчинение неизменным эталонам бюрократической технологии, представленным, в частности, в разного рода инструкциях, требует исключения из деятельности, из действительности, из самого человека всего своеобразного, индивидуального, конкретного, изменчивого. «Бесцветность — вот единственный дозволенный цвет этой свободы»⁸⁷. Таким образом, бюрократические эталоны и стереотипы не допускают в деятельности прежде всего ее индивидуальность, своеобразие, стиль. «...Истина всеобща,— пишет К. Маркс,— она не принадлежит мне одному, она принадлежит всем, она владеет мною, а не я ею. Мое достояние — это форма, составляющая мою духовную индивидуальность. «Стиль — это человек». И что же! Закон разрешает мне писать, но я должен писать не в своем собственном стиле, а в каком-то другом. Я имею право раскрыть мой духовный облик, но должен прежде всего придать ему пред-

писанное выражение!»⁸⁸ Запрет на стиль оказывается запретом на духовную индивидуальность.

И дальше К. Маркс показывает, как разрушение стиля приводит к невозможности получения истинного знания, так как истина конкретна, истина есть процесс. Разрушение стиля вызывает разрушение субъекта, нарушение его права быть реальным конкретным субъектом, а также ведет к искажению объекта, так как не позволяет выразить своеобразие его сущности. «Каждая капля росы, озаряемая солнцем, отливает неисчерпаемой игрой цветов, но духовное солнце, в скольких бы индивидуальностях, в каких бы предметах лучи его не преломлялись, смеет породить только один, только *официальный цвет*». «Но если мы оставим,— продолжает К. Маркс,— в стороне все *субъективное*, а именно, то обстоятельство, что один и тот же предмет различно преломляется в различных индивидах и превращает свои различные стороны в столь же различных духовных характерах, то разве *характер самого предмета* не должен оказывать никакого, даже самого ничтожного, влияния на исследование?.. Вы, стало быть, нарушаете право объекта так же, как вы нарушаете право субъекта»⁸⁹.

Не случайно бюрократизация управления часто отождествляется с бездушной «бюрократической машиной», «административной машиной». Распадение технологии и стиля приводит к тому, что бюрократия, как подмечает В. П. Макаренко, бессильна коренным образом изменить саму технологию управления, она уже начинает действовать как бы помимо нее (хотя это, конечно, видимость). «Она может стремиться только к улучшению объектов управления... подогнать действительность под существующие формы и принципы управления»⁹⁰. Это выражается в многочисленных поучениях граждан. Перед страной ставится требование «изменить свои обычаи, свое право, формы своего труда... чтобы подогнать их под существующее управление»⁹¹. Следовательно, разрушение стилевой сферы, стремление подогнать все и вся под абстрактно-всеобщее, под безличные эталоны является существенной характеристикой бюрократии.

Однако анализ был бы неполон, если не обратиться к другой стороне определения К. Марксом бюрократии, к той ее части, где говорится, что бюрократия защищает «мнимую всеобщность» не бескорыстно, но чтобы спасти «мнимую особенность всеобщего интереса, свой собственный дух». Таким образом, бюрократия утверждает только такую всеобщность, которая не исключает, но предполагает ее собственную особенность и исключительность, а следовательно, и «неповторимую реальность». А так как бюрократия, чтобы быть реальной, должна утверждать и свою собственную особенность (хотя и мнимую), то она должна иметь и свои собственные стилевые формы выражения. Без стиля никакая

общность и никакая деятельность не обладают статусом реальной. Однако поскольку особенность, исключительность бюрократии как проводника государственного интереса является все-таки мнимой (у нее нет своего собственного реального содержания, она паразитирует на дутой всеобщности корпоративного государственного интереса), то бюрократия фактически порождает и мнимые формы стиля, или, точнее, иллюзорные формы стиля.

Это так называемые «призрачные политические формы», которые как раз и являются следствием отождествления «всеобщего дела» с конкретным политическим и историческим его существованием, преобразования формальных политических действий во всеобщие и т. д.⁹² Посредством этих «призрачных политических форм» создается иллюзия политической активности бюрократии, ее реальной включенности в действительный политический процесс, а с другой стороны, видимость участия граждан в политике. Выхолащивание содержания, смысла технологии, формирование иллюзорных форм стиля деятельности приводит к тому, что «государственный интерес становится **формальностью**»⁹³. Двойственность природы бюрократии (с одной стороны, абсолютное распадение стиля и технологии деятельности, а с другой стороны, порождение иллюзорных форм стиля) делает бюрократию часто недоступной рационально точному анализу и фиксации в каждом конкретном случае, уже в силу возможной многоликости бюрократических ловушек, в которые попадает сознание. Бюрократия по видимости может быть очень многолика. Бюрократ — это не обязательно деятель рутинного типа, отличающийся бездушием, неразворотливостью, педантизмом, чванством и т. д. Но он может представлять и в облике энергичного деятеля, обаятельного либерала, ратовать за многообразие точек зрения, даже быть самокритичным, но все это, как правило, по видимости, а не по сути и в конечном итоге способствует не действительному общественному интересу, но только процветанию самого бюрократа. Следовательно, в бюрократизации управления мы встречаемся с формой деформации стиля, с заменой подлинного, действительного стиля его «призрачными формами», суррогатами стиля. Главным следствием такого бюрократического вырождения деятельности является торможение процесса совершенствования управления, чем бюрократизм препятствует и ускорению социального прогресса в целом. Бюрократизм прежде всего препятствует раскрытию и проявлению творчества самых широких народных масс, так как любое мнение, идущее от граждан, а не от чиновника, считается заведомо частным или не стоящим внимания.

Восстановление полноты условий стилеобразования, осознанное целенаправленное совершенствование стиля (что совпадает с развитием общественных отношений, с поиском новой меры

социокультурной явленности индивидуального) — это прежде всего восстановление «права объекта», т. е. обращение к реальному отражению действительности во всем ее противоречивом многообразии, и, во-вторых, восстановление «права субъекта» или равноправного участия многообразных субъектных позиций в выработке государственных решений.

Хотя в советском обществе бюрократизм уже не является механизмом возведения во всеобщее интересов эксплуататорских классов, однако его двойственная природа сохраняется. В социалистическом обществе бюрократия способствует возведению во всеобщее ведомственного интереса. Не случайно в своих последних работах В. И. Ленин употреблял понятие «бюрократизм» с эпитетом «ведомственный». С марксовским определением бюрократии в полной мере (применительно к современным условиям) совпадает известная ленинская формула сущности бюрократии: «Бюрократизм означает подчинение интересов дела интересам **карьеры**, обращение сугубого внимания **на местечки** и игнорирование работы...»⁹⁴

Если К. Маркс, характеризуя в своих работах бюрократию, противопоставлял ей науку, научную деятельность как подлинно творческую, несовместимую с бюрократизмом, как такую деятельность, где нет разрывов между всеобщим, особенным и частным интересами, где любой, даже единичный, индивидуальный интерес непосредственно совпадает с действительно всеобщим (наука как сфера всеобщего труда), то сегодня мы, к сожалению, фиксируем нарастающее проникновение бюрократии и в сферу управления наукой по мере превращения науки в социальный институт.

Следствия бюрократизации науки те же, что общие следствия бюрократизации управления любой деятельностью. Ведомственная организация науки как социального института, способствуя первоначально процессу индустриализации научного труда, выработке наиболее оптимальной технологии научной деятельности, в последнее время стала все больше вступать в противоречие с субъектной стороной организации научного труда как творческого. Ведомственный бюрократизм в науке все больше проявляет себя в тенденциях выработки замкнутой картины исследуемой реальности, выводимой всеми средствами из зоны критики и превращаемой тем самым в абсолютизм; в монополизации позиции «ведомственного научного субъекта», в возникающих механизмах сокрытия точной научной информации (в превращении ее в профессиональную ведомственную тайну) и в порождаемых вследствие этого множественных разрывах социальных взаимосвязей между различными областями научной деятельности (фундаментальными и прикладными исследованиями, гуманитарными и естественнонаучными областями, между различными научными дисциплинами и т. д.),

науки и практики, науки и культуры и т. д. Живой пример тому — разрывы между «официальной наукой» и «неофициальным народным творчеством» (творчеством народных умельцев, изобретателей, народных врачей и т. д.); между «официальным научным» и общественным мнением (которое заведомо признается ненаучным); между наукой как социальным институтом и творчеством конкретного ученого как индивидуальности, когда даже открытия последнего оцениваются не как благо, а как вызов корпоративным интересам социального института науки; между научным институтом, работающим в соответствии с однажды и однозначно определенными исследовательскими приоритетами и быстроменяющимися социальными потребностями, выдвигаемыми развитием производства, практики и т. д. В целом анализ управленческих, организационных отношений в науке, сочетание объектной и субъектной сторон научной деятельности в современных условиях — это тема специального исследования, особенно если отойти от идиллического, часто воспроизводимого образа науки, с точки зрения которого утверждается, что гласность и демократизм имманентно присущи науке и давно уже безраздельно господствуют в научной среде. На необходимость преодоления такого рода идеализаций указал, в частности, М. Франк-Каменецкий⁹⁵.

Здесь нас интересуют причины возникновения бюрократизма в науке и пути его преодоления с точки зрения роли в этом процессе механизма стилиобразования. Представляется, что причины бюрократизации любого вида деятельности нужно искать в стадии определенного цикла развития, в возникновении той ситуации, когда функционирование целого подчиняет себе процесс его развития и препятствует выходу на новый уровень, виток, новый цикл развития. То, что до некоторых пор это не являлось теоретически очевидным, объясняется, на наш взгляд, недостаточно полной представленностью в теории процесса развития как целостно-организованного.

Как показал В. Н. Южаков, целостность организации развития — это не становление целостности из множества предпосылок, и не расчленение ее или модификация, но это «превращение форм целостности»⁹⁶. «Полный цикл организации развития есть движение от исходной формы целостности через состояние ее расчлененности к новой форме целостности»⁹⁷. Основываясь на этой, на наш взгляд, теоретически более полной модели организации развития, В. Н. Южаков выделяет и этапы формирования различных видов управления, которые различаются в зависимости от того, насколько полно, целостно сформировался объект управления, насколько полно в объект управления попадает сам процесс развития. Сначала объектом управления являются лишь отдельные элементы цикла развития (результаты развития, процессы и т. д.), затем

цикл в целом, и наконец, сам процесс смены циклов (собственно историческое развитие)⁹⁸. Вместе с развитием объекта управления возрастают и степень осознанности, целенаправленности процесса управления. Кроме того, в самом объекте управления по мере его развития все большее место занимают формы представленности самого субъекта. Так, переход «к сознательному управлению историческим развитием предполагает появление реальной возможности изменения формы осуществления исторического процесса в целом в зависимости от изменяющихся целей субъекта»⁹⁹. И. С. Ладенко также связывает возможность перехода к программно-целевому методу управления и планирования с тем, что цели, целеполагание, целеобразование получают новую форму существования. «Они могут быть непосредственно связаны с действиями человека, но в такой же степени они могут быть результатами или средствами работы вычислительной техники»¹⁰⁰. В современных условиях изменение объекта управления В. Н. Южаков определяет как переход от управления процессами к управлению развитием как целостным циклом. «...Сущность его в том, что непосредственным объектом целенаправленного управления остаются процессы, но перспективной целью, сверхзадачей управления становится развитие. Научно-техническая революция завершает переход к этому этапу. Она же определяет и необходимость перехода к следующему этапу — собственно сознательному управлению развитием»¹⁰¹.

Бюрократизация деятельности, являясь порождением стагнационных процессов, сама в свою очередь способствует закреплению стагнации, приводит к торможению развития, так как, консервируя определенный механизм функционирования системы, увеличивает временные промежутки между циклами развития, замедляет переход к новому циклу.

В передовых направлениях развития управленческой теории исследователи приходят к выводу о неизбежности снижения эффективности управления там, где превалирует ориентация на функциональные структуры. Поскольку системы и процессы, подлежащие управлению, являются, как правило, высокодинамичными, развивающимися, складывающимися из быстро сменяющихся друг друга ситуаций, то они просто не могут быть описаны и скорректированы на основе учета только функциональных, стабильных, воспроизводимых характеристик. Особенно вопиющим является сегодня расхождение организационных, ориентированных функционально структур управления и научной деятельности. Научная деятельность, по своей сути приобретающая в век НТР все более инновационный характер, в наибольшей степени страдает от бюрократизации управления, консервирующей функционально-стабильные структуры. Поэтому не случайно, как свиде-

тельствуют сами ученые, все достигнутые советской наукой успехи «не обусловлены существующей системой управления наукой... а достигнуты вопреки этой системе»¹⁰². Бюрократическое управление наукой настолько несовместимо с сутью научной деятельности, что приобретает часто формы, доходящие до абсурда. Вот как описывает одну из таких ситуаций С. В. Мейен: «...Разговоры о перестройке вызвали своеобразный приступ бюрократического страха и призыв к самосохранению. Существует масса инструкций, выпущенных академическими и еще более высокими кругами, и администрация начала беспокоиться, что массовые проверки (которые стали теперь основным занятием администрации) выяснят, что то или иное указание не выполнено... На заведующих лабораториями посыпались дождем приказы. Чуть не каждый день они приходили, и чего только не касались: техники безопасности или строгого определения того, чем должна заниматься лаборатория в целом и каждый ее сотрудник в отдельности. Ясно, что такие указания для лаборатории мог составить только сам заведующий. Но ясно и то, что это бессмысленное занятие: как если бы мы, придя домой, составляли для себя подобный документ вместо того, чтобы просто заниматься привычной домашней работой. Инструкция для жены, для каждого члена семьи, чтобы они по всякому поводу в них заглядывали и точно им следовали. Может быть в абсолютно регламентированной семье, лишенной всякой человечности, это и возможно. Но кто захочет жить в такой семье или работать в лаборатории, где такие порядки? В творческой лаборатории идет поиск и сегодня делается то, что не делалось вчера, о чем позавчера и не задумывались — когда отвлекаться на соблюдение позавчерашних инструкций? Конечно, бюрократия не может ни понять таких рассуждений, ни признать их законность: поэтому за первый (1986) год перестройки большая часть рабочего времени ведущих сотрудников Академии была съедена бюрократической деятельностью. Все понимали бессмысленность этого, смеялись над этим — но ничего не могли поделать в рамках существующей системы управления наукой»¹⁰³.

Перестройка управления наукой, преодоление бюрократизации возможны со сменой главных приоритетов управления (в том числе и стиля мышления): ориентация на функциональные механизмы должна быть заменена приоритетом ситуационных способов управления.

Возникновение ситуационных концепций в США было связано с критикой классических, а затем и неоклассических теорий менеджмента¹⁰⁴. «Ситуационный подход,— как его определяют Ф. Каст и Дж. Розенцвейг,— стремится понять взаимосвязи внутри и между подсистемами, так же, как и между организацией и ее средой, и определить типы отношений или конфигураций переменных. Он

делает ударение на многовариантную природу организаций и пытается понять, как организация действует при меняющихся условиях и в специфических обстоятельствах»¹⁰⁵. Д. Миллер в статье «К новому ситуационному подходу: поиск организационных гештальтов» выдвигает пять основных требований к новому подходу: 1) необходимость рассмотрения сложных многопеременных связей; 2) требование учета нелинейности зависимостей между переменными; 3) учет свойства «эквивифинальности», т. е. возможности выбора одного из нескольких путей решения данной проблемы; 4) рассмотрение организации в динамике; 5) учет взаимовлияния организации и среды при описании процесса организационной адаптации¹⁰⁶.

Именно в ситуативных структурах управления проявляется потребность в осознании самого факта стилеобразования и его важности в управлении, так как возрастает в целом роль культурного потенциала субъектов управления, индивидуально-личностного своеобразия каждого, принимающего решение в конкретной неповторимой ситуации.

Бюрократизация управления — это не просто препятствие на пути формирования целостной организации развития объекта управления, но, ввиду предельной объективации (отчуждения) деятельности, отделения ее от конкретных субъектов, от их личной ответственности, бюрократизм препятствует прежде всего формированию целостного развития субъекта управления.

Функционально-бюрократические структуры управления в любом виде деятельности приводят к понижению творческого потенциала человека, так как выступают своего рода фильтрами, отбирающими работников не в соответствии с их личностным своеобразием и уникальными способностями, но по средне-унифицированным характеристикам. Особенно страдает от этого наука, организационно-управленческие структуры которой отбирают людей по чуждым самой сути науки характеристикам (умению что-то пробить, имеющих большие связи и т. д.). Это ведет к девальвации ценности знаний, культуры работников науки даже в высших научных эшелонах¹⁰⁷. Функционально-бюрократические структуры науки, закрепляя жесткие формы организации, ведомственные границы, препятствуют становлению и развитию новых субкультур, культурных топосов науки. Развитие науки нуждается в обеспечении условий взаимопонимания, научного диалога, объединения различных специалистов в научные творческие коллективы — все это возможно в рамках неформальных общностей, новых субкультур науки. Выдвинутый С. В. Мейеном «принцип сочувствия» как условие творческого взаимопонимания в науке¹⁰⁸ фактически является предтечей идей нового мышления применительно к этосу науки. Эвристичность научного поиска все в большей степени будет

определяться тем, насколько общество сможет создать гибкие структуры управления, дающие свободное пространство для развития многообразных научных субкультур, как источников творческих инноваций. Поэтому не случайно один из путей преодоления бюрократизма — это и осознанное обращение к культуре, к субъектной сфере деятельности, осознание важности целенаправленного стилообразования. Разрыв различных циклов развития возникает не только в силу абсолютизации механизмов функционирования целого, но в силу того что получаемый вследствие этого результат не может соединиться с конкретным субъектом, объективно включенным не только в процессы функционирования, но и развития. Если функционирование выделяет в субъекте, в результате деятельности — инвариантное, устойчивое, всеобщее, то развитие, опираясь на функционирование, все же не сводится к нему, но предполагает появление многовариантного, уникального, конкретного, культурно-многообразного. Социально-новое по самой своей сути не может быть только объектно-новым, но это и субъектно-новое.

Требование осознанного формирования стиля управления и заключает в себе не что иное, как необходимость подчинения механизмов функционирования (действия, деятельности) субъекта механизму развития субъекта (творческой деятельности, поступку). Развитие же субъекта управления — это постоянно живое включение его не только в один конкретный вид деятельности, но и в общение с другими субъектами, присвоение им в конечном счете всего богатства развивающихся общественных отношений. Это открытая модель субъекта. Сама открытость субъекта невозможна без формирования стиля. Одним из свидетельств необходимости этого является повышение запроса у субъекта управления к знаниям о социальных отношениях, к знаниям о субъектной стороне деятельности¹⁰⁹.

Развитие методов имитационного моделирования и особенно имитационно-деловых и проблемно-деловых игр также отвечает потребности саморазвития субъекта управления. Это сфера осознанного приобщения субъекта к моделированию новой культуры отношений, в том числе в науке. Деловые игры — это совершенно новый способ деятельности, который всецело направлен на развитие именно субъектной стороны деятельности, субъекта управления в его целостности, во всей конкретности предстоящих ему действий и поступков. Переход от имитационно-деловой игры к проблемно-деловой (особенно расширено было представление о сути деловых игр после публикации статьи В. М. Розина «Методологический анализ деловой игры как новой формы научно-технической деятельности и знания»)¹¹⁰ сразу высветил ее значение не просто для имитации объективной ситуации управления, но

прежде всего для формирования творческого субъекта. Одной из целей игр становится развитие навыков индивидуальной и коллективной мыследеятельности и даже не только мыследеятельности, но целостной организации деятельности субъекта в конкретной ситуации, т. е. его стиля в целом, а не только стиля мышления. «Иной режим деятельности помогает участникам разрушить устоявшиеся стереотипы. В ходе ПДИ целенаправленно создаются условия, позволяющие коллективу взглянуть на себя как бы со стороны, с иной позиции. ПДИ может рассматриваться поэтому как своеобразная форма самоотрицания, саморазвития коллектива. О саморазвитии можно говорить в том случае, если в поиске инноваций формируется и коллективная готовность к их реализации, создаются организационные механизмы их внедрения. Если к тому же ПДИ сознательно используется в этих целях, она предстает и как существенный механизм управления развитием коллектива, его самоуправления»¹¹¹.

Таким образом, стилиобразование открывается не просто как внешняя форма, некое излишество или украшение, несущественное по отношению к самой деятельности, но именно как неотъемлемый атрибут любой деятельности в том случае, когда мы переходим к рассмотрению науки с точки зрения целостной организации процесса ее развития. Когда наука объективно превращается в исторический процесс, тогда и стилиобразование предстает как закономерный аспект субъективной организации целостного процесса развития науки и практики.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. С. 20—21.
- ² Там же. С. 21.
- ³ Там же. С. 24.
- ⁴ Там же. С. 25.
- ⁵ Там же. С. 27.
- ⁶ Там же. С. 23.
- ⁷ Блок М. Апология истории или ремесло историка. М., 1973. С. 19.
- ⁸ Бахтин М. М. К философии поступка // Философия и социология науки и техники. Ежегодник. М., 1986. С. 113.
- ⁹ Rethinking Bakhtin. Extensions and Challenges // Ed. G. S. Morson, C. Emerson. Evanston, 1989. P. 120.
- ¹⁰ Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. С. 73.
- ¹¹ Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. С. 169.
- ¹² Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. С. 22.
- ¹³ Блок А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., Т. 5. 1968. С. 315.
- ¹⁴ Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. С. 28.
- ¹⁵ Бахтин М. М. К философии поступка. С. 124.
- ¹⁶ Гадамер Х. Г. Истина и метод. М., 1988. С. 409.
- ¹⁷ Там же. С. 417.

- ¹⁸ Там же. С. 419.
- ¹⁹ Там же. С. 421.
- ²⁰ Там же.
- ²¹ Там же. С. 426.
- ²² Там же. С. 313.
- ²³ См.: **Голдстейн М., Голдстейн И. Ф.** Как мы познаем. М., 1984; **Гилберт Д. Н., Малкей М.** Указ. соч.
- ²⁴ См.: **Барг М. А.** Эпохи и идеи. Становление историзма. М., 1987.
- ²⁵ Там же. С. 331.
- ²⁶ **Михайлов А. В. И. Хейзинга в историографии культуры** // И. Хейзинга. Осень Средневековья. М., 1988. С. 450.
- ²⁷ **Пригожин И.** Переоткрытие времени. С. 5.
- ²⁸ Там же.
- ²⁹ Там же. С. 7.
- ³⁰ Там же. С. 19.
- ³¹ **Петров С.** Особенности перехода мышления на новый уровень познания: мышление со второй производной // *Вопр. философии.* 1987. № 1. С. 65—66.
- ³² **Бор Н.** Атомная физика и человеческое познание. М., 1967. С. 143—144.
- ³³ Там же. С. 60.
- ³⁴ Там же. С. 62.
- ³⁵ Там же. С. 143.
- ³⁶ См.: **Хикель Э.** Разрушить непонятное // *Философские науки.* 1989. № 3. С. 123.
- ³⁷ **Бердяев Н. А.** Философия свободы. Смысл творчества. М., 1989. С. 46.
- ³⁸ Там же. С. 66—67.
- ³⁹ Там же. С. 30.
- ⁴⁰ Цит. по: **Эйнштейн** и современная физика. М., 1956. С. 89—90.
- ⁴¹ **Холтон Дж.** Тематический анализ науки. М., 1981. С. 259.
- ⁴² См.: **Collins Н. М.** The replications of experiments in physics // *Science in Context.* Milton Keynes, 1982.
- ⁴³ См.: **Малкей М.** Наука и социология знания. М., 1983.
- ⁴⁴ **Фейерабенд П.** Избранные труды по методологии науки. М., 1986. С. 225—226.
- ⁴⁵ Там же. С. 178.
- ⁴⁶ Там же. С. 322.
- ⁴⁷ Там же. С. 458.
- ⁴⁸ Там же. С. 365.
- ⁴⁹ **Холтон Дж.** Указ. соч. С. 267.
- ⁵⁰ Там же.
- ⁵¹ **Harre R.** Varies of realism: a rational for the natural science. Oxford, 1986. P. 375.
- ⁵² **Bhaskar R.** A Realist theory of Science. Leeds, 1975.
- ⁵³ Ibid. P. 15.
- ⁵⁴ Ibid. P. 16.
- ⁵⁵ Ibid. P. 17.
- ⁵⁶ **Вартофский М.** Модели: репрезентации и научное понимание. М., 1988. С. 9.
- ⁵⁷ Там же. С. 24.
- ⁵⁸ Там же. С. 29—30.
- ⁵⁹ **Вовк С. Н.** Математический эксперимент: сущность, структура и перспективы развития // *Философские науки.* 1989. № 10. С. 29.
- ⁶⁰ См.: **Моисеев Н. Н.** Математика ставит эксперимент. М., 1979.
- ⁶¹ **Вовк С. Н.** Указ. соч. С. 29.
- ⁶² Там же. С. 30.
- ⁶³ **Моисеев Н. Н.** Указ. соч. С. 143.
- ⁶⁴ Там же. С. 120.
- ⁶⁵ Там же. С. 71.

- ⁶⁶ См.: **Кедров К.** Поэтический космос. М., 1989.
- ⁶⁷ Там же. С. 134.
- ⁶⁸ Там же. С. 244.
- ⁶⁹ Там же. С. 187.
- ⁷⁰ Там же. С. 326.
- ⁷¹ **Агинштейн М. Э., Мигдал А. А.** Как увидеть невидимое? // Эксперимент на дисплее. М., 1989. С. 166.
- ⁷² См.: Руководитель коллектива. Наше общество сегодня и завтра. Л., 1974; **Омаров А. М.** Руководитель. Размышления о стиле управления. М., 1984; **Стиль работы и образ жизни руководителя.** М., 1985. **Стиль и методы руководства.** М., 1985.
- ⁷³ См.: **Макаренко В. П.** Анализ бюрократии классово-антагонистического общества в ранних работах К. Маркса. Ростов н/Д., 1985; **Он же.** Бюрократия и государство. Ленинский анализ бюрократии царской России. Ростов н/Д., 1987; **Самый худший внутренний враг.** М., 1987 и др.
- ⁷⁴ См.: Искусство управления: конкретная ситуация. М., 1977.
- ⁷⁵ Стиль и методы руководства.
- ⁷⁶ Стиль работы и образ жизни руководителя. С. 168—169.
- ⁷⁷ Там же.
- ⁷⁸ **Омаров А. М.** Указ. соч. С. 8.
- ⁷⁹ Руководитель коллектива. С. 23.
- ⁸⁰ **Омаров А. М.** Указ. соч. С. 11.
- ⁸¹ Стиль работы и образ жизни руководителя. С. 117.
- ⁸² Там же. С. 167.
- ⁸³ См.: М. Вебер. Избранные произведения. М., 1990.
- ⁸⁴ **Маркс К.** К критике гегелевской философии права // **Маркс К., Энгельс Ф.** Соч. Т. 1. С. 270.
- ⁸⁵ **Маркс К.** Оправдание мозельского корреспондента // **Маркс К., Энгельс Ф.** Соч. Т. 1. С. 201.
- ⁸⁶ **Макаренко В. П.** Анализ бюрократии классово-антагонистического общества в ранних работах К. Маркса. С. 32.
- ⁸⁷ **Маркс К.** Заметки о новейшей прусской цензурной инструкции // **Маркс К., Энгельс Ф.** Соч. Т. 1. С. 6.
- ⁸⁸ Там же. С. 8.
- ⁸⁹ Там же.
- ⁹⁰ **Макаренко В. П.** Указ. соч. С. 110.
- ⁹¹ **Маркс К.** К критике гегелевской философии права. С. 204.
- ⁹² **Макаренко В. П.** Указ. соч. С. 110.
- ⁹³ **Маркс К.** К критике гегелевской философии права. С. 292.
- ⁹⁴ **Ленин В. И.** Шаг вперед, два шага назад // **Ленин В. И.** Полн. собр. соч. Т. 8. С. 351.
- ⁹⁵ См.: **Франк-Каменецкий М.** Почему молчат ученые? // Литературная газета. 1988. № 11. С. 12.
- ⁹⁶ **Южаков В. Н.** Организация процесса развития. Объективные закономерности, познание и управление. Саратов. 1986. С. 147.
- ⁹⁷ Там же. С. 127—128.
- ⁹⁸ Там же. С. 126.
- ⁹⁹ Там же.
- ¹⁰⁰ **Ладенко И. С.** Интеллектуальные системы в целевом управлении. Новосибирск, 1987. С. 167.
- ¹⁰¹ **Южаков В. Н.** Указ. соч. С. 122—123.
- ¹⁰² **Мейен С. В.** Академическая наука? // Вopr. философии. 1990. № 9. С. 16.
- ¹⁰³ Там же. С. 21.
- ¹⁰⁴ См.: **Екатеринославский Ю. Ю.** Управленческие ситуации. Анализ и решения. М. 1988.
- ¹⁰⁵ **Kast F., Posenzweig J.** General Systems Theory: Application for Organi-

- zation and Management // Academy of Management Journal. 1972. Dec. P. 460.
- ¹⁰⁶ **Miller D.** Toward a new Contingency Approach: the search for Organizational Westalts // Journal of Management Studies. 1981. N 1. P. 9.
- ¹⁰⁷ См.: **Кара-Мурза С. Г.** Указ. соч.
- ¹⁰⁸ **Мейен С. В.** Принцип сочувствия // Пути в незнание. Вып. 13. М., 1976.
- ¹⁰⁹ **Райкова Д. Д., Мозговая А. В.** Социологический стиль мышления ученых и организаторов науки как фактор интенсификации научной деятельности // Социальные и экономические аспекты повышения эффективности советской науки: Тезисы симпозиума. М., 1982. С. 43.
- ¹¹⁰ См.: **Розин В. М.** Методологический анализ деловой игры как новой формы научно-технической деятельности и знания. // Вopr. философии. 1986. № 6.
- ¹¹¹ **Южаков В. Н., Фокина Т. П., Замогильный С. И., Пампура С. М., Орлов В. В., Шимельфениг О. В.** О работе группы по проблемно-деловым играм // Информационные материалы Философского общества СССР. 1987. № 3. С. 28.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Странность современной науки для многих связывается с обнаружением неадекватности классического образа науки, с выявлением множества реальных ситуаций, в которых считавшийся непогрешимым авторитет научной технологии (рационального метода) срывает не в полной мере, более того, самые глубокие и, казалось бы, действовавшие как бы независимо от конкретного субъекта процедуры научной деятельности оказываются «нагруженными» субъектными измерениями, зависимыми от позиций и предпочтений ученого и общества, от тона эпохи, от тех или иных культурных интерпретаций.

В философском осмыслении науки эта ситуация порождает различные ответы, касающиеся понимания культурной сущности науки и ее будущего. В рамках одного из направлений такой философской работы культурная сущность науки усматривается именно в ее технологии, методе, самом механизме получения истинного знания. Отсюда новая ситуация в науке, вызванная проникновением научного исследования в нетрадиционные предметные области, понимается как очередной, преодолимый кризис научной методологии. Такой ответ предполагает поиски новой научной рациональности, открытие новой, адекватной нетрадиционной предметности научной методологии. Например, поиски неорационализма в этом направлении (Башляр) приводят фактически к переоткрытию диалектики, но уже как всеобщего метода научного исследования. При этом сам образ науки остается принципиально неизменным: главная культурная сущность науки видится в технологии, в ее способности подняться над мирскими интересами и ценностными ориентациями эмпирического субъекта. Это направление факти-

чески «спасает» классический образ науки в неклассических условиях.

Другое направление философского осмысления науки признает в качестве культурного измерения научной деятельности не ее технологию, но собственно человеческие, субъектные ее параметры. Однако субъектные параметры чаще всего отождествляются с чем-то нелогичным, нерациональным и иррациональным. П. К. Фейерабенд в ходе своего исследования науки приходит, по крайней мере, к двум принципиально важным выводам, на наш взгляд, адекватно отражающим суть современной науки: 1) идеал жесткой нормативной технологии (метода) не отвечает действительности и должен быть заменен представлением о вероятностном характере метода; 2) в научной деятельности неустранимы субъектные социокультурные измерения, начиная уже с уровня получения эмпирических данных («естественные интерпретации»). Отождествление рациональности с жестким нормативным методом, а иррационального с субъектной стороной науки, с тем, что не включается в жесткую методологию, приводят Фейерабенда к крайнему выводу о неустранимости иррационального из науки. Но еще более парадоксально то, что в конечных своих выводах о судьбах науки Фейерабенд остается на позициях классического образа науки. Обнаружив, что рациональность науки (как ее жесткую нормативность, технологичность) спасти нельзя и даже опасно, он приходит к выводу о необходимости социального насилия по отношению к науке, крайне принижает ее культурное значение и даже умаляет его совсем, с чем согласиться нельзя.

В проведенном исследовании мы постарались показать, что именно анализ такого феномена как стиль научной деятельности позволяет подойти к новому образу науки и более адекватно отразить ее культурную сущность и ее будущее развитие.

Парадоксы классического образа науки порождены тем, что он создавался на основе преимущественного анализа предметной и технологической (операционной, методологической) составляющих научной деятельности. Субъектная сфера науки рассматривалась только в той мере, в какой субъект включался в технологию, как «объективированная субъектность». Исследование объективного мира, подчиненное запросам вещной промышленной технологии, нуждалось в выработке таких процедур научной деятельности, которые позволяли и в результате научного труда максимально элиминировать все проявления субъекта. Не случайно поэтому все сверхмерные особенности субъекта, собственно его культура и ценностный мир оставались за скобками традиционной гносеологии науки и оценивались чисто негативно (идолы, предразсудки, фантомы, субъективное и т. д.). При такой установке гносеолог не занимался проблемами субъектного измерения науч-

ной деятельности, если речь шла о нередуцированных формах субъектности.

В современной науке существенно изменяется сама научная технология и возрастают требования к полноте субъектных измерений деятельности. Неустранимость субъектного измерения науки, потребность расширять культурную меру субъектности, включать не только одну-единственную абсолютную позицию, но вариативность позиций, не одномерного, но многомерного и многоместного субъекта отнюдь не является симптомом разрушения науки и ее иррационализации.

Научная деятельность сама по себе не одномерна, но многоуровневая: она включает, с одной стороны, научную технологию как наиболее оптимальные, инвариантные структуры деятельности, а с другой стороны, стиль деятельности как живой источник и культурный потенциал науки, ее культурную проектную лабораторию. Если главная функция технологии науки — вырабатывать исходный материал (предмет науки) и давать конечный продукт научной деятельности (научные знания) в соответствии с заданной социокультурной и конкретно-исторической мерой, то стиль науки ответственен за подготовку к деятельности самого субъекта науки (соединение субъектных и объектных сторон деятельности) и за формирование нового культурного потенциала человека науки. Стилиевые структуры деятельности являются иррациональными в смысле Фейерабенда (так как они выходят за рамки технологии), но они рациональны в другом смысле — в смысле рефлексивности предельных социокультурных субъектных измерений научной деятельности.

Стиль науки раскрывается как феномен историко-культурного развития, так как полное свое раскрытие субъект (человек, общество, эпоха) получает только в историческом движении. Исследование стиля открывает многообразие и очень сложную динамику бытия науки, ее осуществления в культурно-историческом процессе. Производственно-технологические, социологические и традиционно-гносеологические модели научной деятельности не дают адекватных средств для исследования исторической динамики культурных трансформаций в науке, более того, вопросы научной культуры остаются, как правило, на периферии этих моделей. Вместе с тем дальнейший прогресс науки, ее перспективы и место в культуре будут определяться тем, насколько то или иное общество сможет создать условия для развития многообразных субкультур науки, насколько социальные структуры окажутся лабильными, допускающими существование и возникновение инновационных культурных топосов науки как аттракторов нового мышления.

CONTENTS

Introduction	4
Chapter one. Style as a culture-historical dimension of scientific activity.	7
1. Images of science and the problem of style.	7
2. Stilistic formes of scientific theory, logic and method. . .	23
3. Stilistic environment of science.	31
4. Style as a condition of reproducing of scientific activity.	46
Chapter two. Style as a culture-historical self-definition of subject of science.	59
1. Style as a subject-individual way of being of universal. . .	59
2. Style as a culture-historical measure of surplusivity and definity of subject activity.	67
3. Cultur-historical toposes as base of scientific style. . . .	80
Chapter three. Style and culture-historical perspectives of science.	104
1. Philosophical images of history and scientific style. . .	104
2. Method and style of science: on the way towards inno- vatic technology of scientific studies.	112
3. Styling as a factor of perfecting of management in science.	131
Instead of conclusion	149